

---

# ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

ВЕДЕНИЕ

## ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



### СОДЕРЖАНИЕ

А. С. СЕРАФИМОВИЧ — Галка  
Анна КАРАВАЕВА — Лесозавод  
Мих. ШОЛОХОВ — Тихий Дон  
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — В преиспод-  
ней  
И. ЖИГА — Заклепка  
В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Тайная  
поездка в Россию в 1905 г.  
В. СЕРЖ — Заметки о Пьере  
Ампе

#### СТИХИ:

М. Светлова, И. Доронина, Р. Ро-  
мана, А. Суркова, И. Садофьева,  
С. Щипачева, Я. Шведова, Г. Фи-  
ша, Б. Соловьева

#### БИБЛИОГРАФИЯ

БНИГА 1

---

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

# О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ  
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ  
АССОЦИАЦИЙ  
ПРОЛЕТАРСКИХ  
ПИСАТЕЛЕЙ

★

К Н И Г А П Е Р В А Я

Я Н В А Р Ъ 1 9 2 8

---

МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ  
МОСКВА \* ЛЕНИНГРАД

Отпечатано  
в 7-й типографии  
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“  
Мосполиграф.  
Москва, Арбат, Филипповск., 13.  
Тираж 1000 экз.  
Мосгублит № 7.168.

# Т И Х И Й Д О Н

\*

МИХ. ШОЛОХОВ

„Не сохами-то славная землюшка наша распахана,  
Распахана наша землюшка лошадиными копытами.  
А засеяна славная землюшка казачьими головами,  
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,  
Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами.  
Наполнена волна в тихом Дону отцовскими, материн-  
скими слезами“.

„Ой, ты, наш батюшка, тихий Дон!  
Ой, что же ты, тихий Дон, мутнехонек течешь?  
Ах, как мне, тиху Дону, не мутну течи.  
Со дна меня, тиха Дона, студены влючи бьют,  
Посередь меня, тиха Дона, бела рыбаца мугит“.

*(Старинные казачьи песни)*

## Часть первая

I

**М**ЕЛЕХОВСКИЙ двор — на самом краю хутора. Воротца с скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск между замшелых в прозелени меловых глыб — и вот берег: перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма нацелованной волнами гальки и дальше перекипающее под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток — за красноталом гуменных плетней — Гетманский шлях, полынная проседа, истоптанный конскими копытами бурый живущой придорожник, часоуенка на развилке; за ней — задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу.

В последнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туретчины привел он жену — маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одиночные глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вкоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды.

Прокофий обстроился скоро: плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины, и к осени увел на новое хозяйство сторбленную иноземку-жену. Шел с ней за арбой с имением по хутору — высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немых казачат улюлюкала Прокофию вслед; но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в необъятной черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову, лишь под скулами у него пухли и катались желваки да промеж каменных по всегдашней неподвижности бровей проступил пот.

С той поры редко видели его на хуторе, не бывал он и на майдане. Жил в своем курене, на отшибе у Дона, бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий вечерами, когда вянют зори, на руках носил жену до Татарского ажник кургана. Сажал ее там на макушке кургана спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофия: одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие — наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофию — будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попала к Прокофию последняя из никудышных...

Спустя время раскрасневшаяся Мавра, с платком, с'ехавшим набок, торочила на проулке бабьей толпе:

— И што он, милушки, нашел в ней хорошева? Хуть бы баба была, а то так... ни ж... ни пуза — одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану — перервать можно, как оса; глазюки — черные, здоровующие, стригеть ими, как сатана, прости бог! Должно на сносях дохаживает, ей-бо!

— На сносях? — дивились бабы.

— Кубуть не махонькая, сама трех выняньчила.

— А с лица — как?

— С лица-то? Желтая. Глаза тусменьи, небось, не сладко на чужой сторонушке. А ишо, бабоньки, ходит-то она в... прокофьевых шароварах.

— Ну-у-у?.. — ахали бабы испуганно и дружно.

— Сама видала — в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишние ево подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонуло во мне...

Шопотом гутарили по хутору, что прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых (жили Астаховы от хутора крайние к Прокофию) божилась, будто на второй день троицы, перед светом, видела, как прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на ихнем базу корову. С тех пор сохлось у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла.

В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле Дона каждый день пятнилась песчаная коса трунами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок...

С хуторского схода пришли казаки к Прокофию.

Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь.

— За чем добром пожаловали, господа-старики?

Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала. Один подвыпивший старик первый крикнул:

— Волоки нам свою ведьму! Суд наведем!..

Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу — Люшня, стучал Прокофия головой о стену, уговаривал:

— Не шуми, не шуми, нечево тут!.. Тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю!

— Тяни ее, суку, на баз!.. — гахнули у крыльца.

Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил рев голосов. Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Пластая над головой мерцающий визг шашки, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору.

У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батареяца Люшню и сзади, с левого плеча наискось, развалил его до пояса. Казаки, ломавшие с плетня колья, сыпанули через тумно в степь.

Через полчаса осмелевшая толпа подступила к двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала прокофьева жена; в прези мученически оскаленных зубов ворочался искусанный язык. Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу красно-слизистый попискивающий комочек — преждевременно родившегося ребенка.

Жена Прокофия умерла вечером этого же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка, прокофьева мать.

Его обложили пареными отрубями, поили кобыльим молоком, и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду — Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через двенадцать лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство.

Пантелей рос исчерна-смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой.

Женил его Прокофий на казачке — дочери соседа.

С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато-красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — Турки.

Похоронив отца, в'елся Пантелей в хозяйство: заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жостью. Кровельщик, по хозяйскому заказу, вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский баз беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный.

Под уклон сползавших годков закряжистел Пантелей Прокофьевич: раздался в ширину, чуть ссутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром (в молодости на императорском смотре на скачках сломал левую ногу), носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу, до старости не слиняла на нем вороной масти борода и волосы на голове, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин дородную жену.

Старший, уже женатый сын его, Петр, напоминал мать: небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кареглазый; а младший, Григорий, в отца попер: на полголовы выше Петра, на шесть лет младше, такой же, как у бати, вислый, коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул, обтянутых коричневой румяняющей кожей. Так же ссутулился Григорий, как и отец, даже в улыбке было у обоих общее — звероватое.

Дуняшка — отцова слабость — длиннорукий, большеглазый подросток, да петрова жена Дарья с малым дитем, — вот и вся мелеховская семья.

## II

Редкие в пепельном рассветном небе зыбились звезды. Из-под тучи тянул ветер. Над Доном на дыбах ходил туман и, пластаясь по откосу меловой горы, сползал в яры серой безголовой гадукой. Лево-

бережное обденье, пески, енды, камышастая непролазь, лес в росе полыхали испугленным холодным заревом. За чертой, не всходя, томилось солнце.

В мелеховском курене первый оторвался от сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравивший двор выложен росным серебром. Выпустил на проулок скотину. Дарья в исподнице пробежала доить коров. На икры белых босых ее ног молозивом брызгала роса, по траве через баз лег дымчатый примятый след. Пантелей Прокофьевич поглядел, как прямится примятая дарьяными ногами трава, пошел в горницу.

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку.

— Гришка, рыбалить поедешь?

— Чево ты? — шопотом спросил тот и свесил с кровати ноги.

— Поедем, посидим зорю.

Григорий, посапливая, стянул с подвески будничные шаровары, выбрал их в белые шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник.

— А приваду маманя варила? — силпоу спросил он, выходя за отцом в сенцы.

— Варила. Иди к баркасу, — я зараз.

Старик ссыпал в кубышку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь упавшие зерна и, припадая на левую ногу, похромал к спуску. Григорий, нахохлясь, сидел в баркасе.

— Куда править?

— К Черному яру. Спробуем возле энтой карши, где надясь сидели.

Баркас, черканув кормую землю, осел в воде, оторвался от берега. Стремя понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил веслом.

— Гребани, што ль.

— А вот на середку вылупимся.

Пересекая быстрину, баркас двинулся к левому берегу. От хутора догоняли их гулкие на воде летушинные переклики. Чертя бортом черный хрящеватый яр, лежавший над водой урубом, баркас причалил в котловине. Саженья в пяти от берега виднелись из воды раскоряченные ветви затонувшего вяза. Вокруг него коловерть гоняла бурые комья пены.

— Разматывай, а я запривяжу, — шепнул Григорию отец и сунул ладонь в парное зевло кубышки.



Жито четко брызнуло по воде, словно кто вполголоса шепнул — «шик!» Григорий нанизал на крючок взбухшие зерна, улыбнулся.

— Ловись, ловись, рыбка, большая и малая.

Леса, упавшая в воду кругами, вытянулась струной и снова ослабла. Григорий ногой придавил конец удилица, полез, стараясь не шелохнуться, за кисетом.

— Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе.

— Серники захватил?

— Ага.

— Дай огню.

Старик закурил и поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону карши.

— Сазан — он разное берет. И на ущербе иной раз возьмется.

— Чутно, мелочь насадку обсекает, — вздохнул Григорий.

Возле баркаса, хлопнув, схлынула вода, и двухаршинный, словно слитый из красной меди, сазан со стоном прыгнул вверх, сдвоив по воде изогнутым лопушистым хвостом. Зернистые брызги засеяли баркас.

— Теперь жди! — вытер Пантелей Прокофьевич рукавом мокрую бороду.

Сбоку затонувшего вяза, в рукастых оголенных ветвях, одновременно выпрыгнули два сазана; третий, поменьше, ввинчиваясь в воздух, настойчиво раз за разом бился над яром.

---

Григорий нетерпеливо жевал размокший конец самокрутки. Неяркое солнце стало в полдуба. Пантелей Прокофьевич израсходовал всю приваду и, недовольно подобрав губы, тупо глядел на недвижный конец удилица.

Григорий выплюнул остаток цыгарки, злобно проследил за стремительным его полетом. В душе он клал отцу чертей за то, что разбудил спозаранку, не дал выспаться. Во рту от выжуренного натошак табаку воняло припаленной щетиной. Натгулся-было зачерпнуть в пригоршню воды, — в это время конец удилица, торчавший на поларшина от воды, слабо качнулся и медленно пополз книзу.

— Засекай! — выдохнул старик.

Григорий, встрепенувшись, потянул удилице, но конец стремительно зарылся в воду, удилице согнулось от руки обручем. Словно воротом, опромная сила давила вниз тугое, красноталовое удилице.

— Держи! — стонал старик, отпихивая баркас от берега.

Григорий силился поднять удилице, — его рвало с удесятеренной силой. Сухо чмокнув, лопнула под корешок толстая леса. Григорий качнулся, теряя равновесие.

— Ну, и бугай! — прищептывал Пантелей Прокофьевич, не попадая жалом крючка в насадку.

Взволнованно посмеиваясь, Григорий навязал новую лесу, закинул. Едва лишь грузило коснулось дна — конец погнуло.

— Вот он, дьявол!.. — хмыкнул Григорий, с трудом отрывая от дна метнувшуюся к стремю рыбу.

Леса, пронзительно брунжа, зачертила воду, за ней косым зеленоватым полотном вставала вода. Пантелей Прокофьевич перебирал обрубковатыми пальцами держак черпала.

— Заверни его на воду! Держи, а то пилой рубанет!

— Не бойсь!

Большой изжелта-красный сазан поднялся на поверхность, вспенил воду и, утнув тупую лобастую голову, опять шаррахнул вглубь.

— Давит, аж рука занемела... Нет, погоди!

— Держи, Гришка!

— Держу-у-у!

— Гляди, под баркас не пушай!.. Гляди!

Переводя дух, подвел Григорий к баркасу лежавшего на боку сазана. Старик сунулся-было с черпалом, но сазан, напрягая последние силы, вновь ушел в глубину.

— Голову ему подымай! Нехай, глотнет ветру, — он посмирнеет.

Выводив, Григорий снова подтянул к баркасу измученного сазана. Зевая широко раскрытым ртом, он ткнулся носом в шершавый борт и стал, переливая шевелящееся оранжевое золото плавников.

— Отвоевался! — крякнул Пантелей Прокофьевич, вываливая его в черпало.

Посидели еще с полчаса. Стихал сазаний бой.

— Смагывай, Гришка! Должно, последнего запрягли, ишо не дождемся.

Собрались. Григорий оттолкнулся от берега. Проехали половину пути. По лицу отца Григорий видел, что хочет он что-то сказать, но старик молча поглядывал на разметанные под горой двory хутора.

— Ты, Григорий, вот што... — нерешительно начал он, теребя завязки лежавшего под ногами мешка: — примечаю ты, никак с Аксиньей Астаховой...

Григорий густо покраснел, отвернулся. Воротник рубахи, врезаюсь в мускулистую, прижженную солнцепревом шею, выдавил белую полоску.

— Ты гляди, парень, — уже жестоко и зло продолжал старик: — я с тобой не так загуарю. Степан нам сосед, и с его бабой не дозволю баловать. Тут дело может до греха разыграть, а я наперед упреждаю: примечу — запорю!

Пантелей Прокофьевич осучил пальцы в узловатый кулак, жмуря выпуклые глаза, глядел, как с лица сына сливала кровь.

— Наговоры! — глухо, как из воды, буркнул Григорий и прямо в синеватую переносицу поглядел отцу.

— Ты помалкивай.

— Мало што люди гутарют...

— Цыц, сукин сын!..

Григорий слег над веслом. Баркас заходил скачками. Завитушками заплясала люлюкающая за кормой вода.

До пристани молчали оба. Уже подъезжая к берегу, отец напомнил:

— Гляди, не забудь, а нет — с нонешнего дня прикрыть все игрища.

Штоб с базу ни шагу. Так-то!

Промолчал Григорий. Примыкая баркас, спросил:

— Рыбу бабам отдать?

— Понеси купцам, продай, — помягчал старик. — На табак разживешься.

Покусывая губы, шел Григорий сзади отца. «Выкуси, батя. Хоть стреноженный уйду ноне на игрище», — думал, злобно обгрызая глазами крутой отцовский затылок.

Дома Григорий заботливо обмыл с сазаньей чешуи присохший песок и провздел сквозь жабры хворостинку.

У ворот напоролся на давнишнего друга-одногодка Митьку Коршунова. Идет Митька, играет концом наборного в серебре пояска. Из узеньких щелок желто маслятятся круглые с наглинкой глаза. Зрачки — кошачьи, длинные, оттого взгляд митькин текуч, неуловим.

— Куда с рыбой?

— Нонешняя добычь. Купцам несу.

— Моховым, што ли?

— Им.

Митька на-глазок взвесил сазана.

— Фунтов пятнадцать?

— С половиной. На безмене прикинул.

— Возьми с собой. Торговаться буду.

— Пойдем.

— А магарыч?

— Сладимся. Нечего впустую брехать.

От обедни рассыпался по улицам народ. По дороге рядышком вышагивали три брата, по кличке Шамили.

Старший, безрукий Алексей, шел в середине. Тугой ожерелок мундира прямил ему жилистую шею, редкая курчавым клинышком боро денка задорно бочилась, левый глаз нервически подмаргивал. Давно на стрельбище разорвало в руках у Алексея винтовку, кусок затвора

изуродовал щеку. С той поры глаз к делу и не к делу подмигивает, голубой шрам, перепахивая щеку, зарывается в кудели волос. Левую руку оторвало по локоть, но и одной крутил Алексей цыгарки искусно и без промаха: прижмет кисет к выпуклому заслону груди, зубами оторвет нужный клочок бумаги, согнет его желобком, нагребет табаку и неуловимо поведет пальцами скручивая. Не успеет человек оглянуться, а Алексей, помаргивая, уже жует готовую цыгарку и просит огоньку.

Хоть и безрукий, а первый в хуторе кулачник. И кулак — неособенно, чтоб особенный: так, с травянку величиной; а случилось как-то на пахоте на быка осерчать (кнут затерялся), стукнул кулаком — лег бык на борозде, из ушей — кровь, насилу отлежался. Остальные братья — Мартын и Прохор — до мелочей схожи с Алексеем. Такие же низкорослые, шириной в дуб, только рук у каждого по паре.

Григорий поздоровался с Шамилями, Митька прошел, до хруста отвернув голову. На масленице в кулачной стенке не пожалел Алешка Шамиль молодых митькиных зубов, махнул наотмашь, и выплюнул Митька на сизый, изодранный коваными каблуками лед два коренных зуба.

Ровняясь с ними, Алексей мигнул раз пять под ряд.

— Продай чурбака?

— Купи.

— Почем просишь?

— Пару быков да жену в придачу.

Алексей, щерясь, замахал обрубком руки.

— Чудак... ах, чудак!.. Ох-хо-ха! Жену... А приплод возьмешь?

— Себе на завод оставь, а то Шамили переведутся, — зубоскалил

Григорий.

На площади у церковной ограды кучился народ. В толпе титор, поднимая над головой стреноженного гуся, выкрикивал:

— Молтинник. От-да-ли. Кто больше?

Гусь вертел шеей и презрительно жмурил бирюзинку глаза.

В кругу рядом махал руками седенький, с крестами и медалями, завесившими грудь, старичок.

— Наш дед Гришака про турецкую войну брешет, — указал Митька глазами. — Пойдем послушаем?

— Покель будем слушать — сазан провоняется, распухнет.

— Распухнет — весом прибавит: нам выгода.

На площади, за пожарным сараем, где, с обломанными оглоблями, рассыхаются пожарные бочки, зеленеет крыша моховского дома. Шагая мимо сарая, Григорий сплюнул и заржал нос. Из-за бочки, застегивая шаровары — пряжка в зубах, — вылезал старик.

— Приспичило? — с'язвил Митька.

Старик управился с последней пуговицей и вынул изо рта пряжку.

— А тебе што?

— Носом навтыкать бы надо! Бородой! Бородой! Штоб старуха за неделю не отбанила.

— Я тебе, стерва, навтыкаю! — обиделся старик.

Митька стал, щуря кошачьи глаза, как от солнца.

— Ишь, ты, благородный какой!

— Згинь, сукин сын! Што присучился? А то и ремнем!

Посмеиваясь, Григорий подошел к крыльцу моховского дома. Перила — в густой резьбе дикого винограда. На крыльце пятнистая ленивая тень.

— Во, Митрий, живут люди...

— Ручка — и то золоченая! — Митька приоткрыл дверь на террасу и фыркнул. — Деда бы энтова направить сюда...

— Кто там? — окликнули их с террасы.

Робея, Григорий пошел первый. Крашенные половицы мел сазаний хвост.

— Вам кого?

В плетеной качалке — девушка. В руке блюде с клубникой. Григорий молча глядел на розовое сердечко полных губ, обнимавших ягодку. Склонив голову, девушка оглядывала их. Терпеливо покоилась в теплых губах ягодка.

На помощь Григорию выступил Митька. Он кашлянул.

— Рыбки не купите?

Губы ее, пропустив ягодку, успели улыбнуться быстро, чуть приметно.

— Рыбы? Я сейчас скажу.

Она качнула кресло, вставая, зашлепала вышитыми, одетыми на босые ноги туфлями. Солнце просвечивало белое платье, и Митька видел смутные очертания полных ног и широкое волнующееся кружево нижней юбки. Он дивился атласной белизне ее оголенных икр, лишь на круглых пятках кожа молочно желтела.

— Гля, Гришка, ну и юбка!.. Как скло, насквозь все видать, — толкнул Митька вместо Григория сазана.

Девушка вышла из коридорных дверей, мягко присела на кресло.

— Пройдите на кухню.

Ступая на носках, Григорий пошел в дом. Митька, оставив ногу, жмурился на белую нитку пробора, разделявшую волосы на ее голове на два золотистых полукруга. Она оглядела его озорными беспокойными глазами.

— Вы — здешний?

— Тутошний.

— Чей же это?

— Коршунов.

— А звать вас как?

— Митрием.

Она внимательно осмотрела розовую чешую ногтей, быстрым движением подобрала ноги.

— Кто из вас рыбу ловит?

— Григорий, другзяк мой.

— А вы рыбалите?

— Рыбалю и я, коль охота набредет.

— Удочками?

— И удочками рыбалим, по-нашему — притугами.

— Мне бы тоже хотелось порыбалить, — сказала она, помолчав.

— Што ж, поедем, коль охота есть.

— Как бы это устроить? Нет — серьезно?

— Вставать надо дже рано.

— Я встану, только разбудить меня надо.

— Разбудить можно... А отец?

— Что отец?

Митька замылся.

— Как бы за вора не почел... Собаками ишо притравит.

— Глупости! Я сплю одна в угловой комнате. Вот это окно, — указала она пальцем. — Если придете за мной — постучите мне в окошко, и я встану.

В кухне дробились голоса: робкий — Григория, и густой, мазутный — кухарки.

Митька, перебирая тусклое серебро казачьего пояса, молчал.

— Женаты вы? — спросила, тепля затаенную улыбку.

— А што?

— Так просто, интересно.

— Нет, холостой.

Митька внезапно покраснел, а она, играя улыбкой и веточкой осыпавшейся на пол тепличной клубники, спрашивала:

— Что же, Митя, девушки вас любят?

— Какие любят, а какие и нет.

— Ска-жи-те... А отчего это у вас глаза, как у кота?

— У... кота? — в конец терялся Митька.

— Вот именно — кошачьи.

— Это от матери, должно... Я тут не при чем.

— А почему же, Митя, вас не женят?

Митька оправился от минутного смущения и, чувствуя в словах ее неуловимую насмешку, замерцал желтизною глаз.

— Женилка не выросла.

Она изумленно взметнула брови, вспыхнула и встала.

С улицы по крыльцу шаги.

Ее коротенькая, таящая смех улыбка жиганула Митьку крапивой. Сам хозяин, Сергей Платонович Мохов, мягко шаркая шевровыми просторными ботинками, с достоинством пронес мимо посторонившегося Митьки свое полнеющее тело.

— Ко мне? — спросил пройдя, не поворачивая головы.

— Это, папа, рыбу принесли.

Вышел с порожними руками Григорий.

### III

Григорий пришел с игрищ после первых кочетов. Из сенцев пахнуло на него запахом перекисших хмелин и пряной сухменью богородицной травки.

На цыпочках прошел в горницу, разделся, бережно повесил праздничные с лампасами шаровары, перекрестился и лег. На полу — перерезанная крестом оконного переплета, золотая дрема лунного света. В углу под расшитыми полотенцами тусклый глянec посеребренных икон, над кроватью на подвеске тягучий гуд потревоженных мух.

Задремал-было, но в кухне заплакал братнин ребенок.

Немазанной арбой заскрипела люлька. Дарья сонным голосом бормотнула:

— Цыц, ты, поганое дите! Ни сну тебе, ни покою.

Запела тихонько:

Колода-дуда,  
Иде же ты была?  
Коней стерегла.  
Чего выстерегла?  
Коня с седлом,  
С золотым махром...

Григорий, засыпая под мерный, баюкающий скрип, вспомнил: «А ведь завтра Петру в лагери выходить. Останется Дашка с дитем... Косить, должно, без него будем».

Зарылся головой в горячую подушку — в уши назойливо сочится:

А иде ж твой конь?  
За воротами стоит.  
А иде ж ворота?  
Вода унесла.

Встряхнуло Григория залиvistое конское ржанье. По голосу угадал петрова строевого коня.

Обессилевшими со сна пальцами долго застегивал рубаху, опять почти уснул под текущую зыбь песни.

А иде ж гуси?  
В камыш ушли.  
А иде ж камыш?  
Девки выжали.  
А иде ж девки?  
Девки замуж ушли.  
А иде ж казаки?  
На войну пошли...

Разбитый сном, добрался Григорий до конюшни и вывел коня на проулок. Щекотнула лицо налетевшая паутина и неожиданно пропал сон.

По Дону — наискось волнистый, никем неезженный лунный шлях. Над Доном туман, а сверху звездное просо. Конь сзади сторожко переставляет ноги. К воде спуск дурной. На той стороне утиный крик. Возле берега в тине взвернул и бухнул по воде омахом охотящийся на мелочь сом.

Григорий долго стоял у воды. Прелью сырой и пресной дышал берег. С конских губ ронялась дробкая капель. На сердце у Григория легкая сладостная пустота. Хорошо и бездумно. Возвращаясь, глянул на восход, — там уже рассосалась синяя полутьма. На сизом пологие неба доклевывал краснохвостый рассвет звездное просо.

Возле конюшни столкнулся с матерью.

— Это ты, Гришка?

— А то кто ж.

— Коня поил?

— Поил, — нехотя отвечает Григорий.

Откинувшись назад, несет мать в завеске на затоп кизеки, трюкает старчески дряблыми босьми ногами.

— Сходил ба Астаховых побудил. Степан с нашим собирался.

Прохлада вкладывает в Григория тугую дрожашую пружину. Тело в колючках мурашек. Через три порожка взбегаёт к Астаховым на гулкое крыльцо. Дверь не заперта. В кухне на разостланной полсти спит Степан, под мышкой у него голова жены.

В поредевшей темноте Григорий видит сбитую выше колен аксиньину рубаху, березово-белые, бесстыдно раскинутые ноги. Он секунду смотрит, чувствуя, как сохнет во рту, и в чугунном звоне пухнет голова.

Воровато повел глазами. Зачужавшим голосом хрипло:

— Эй, кто тут есть? Вставайте!

Аксинья всхлипнула со сна.

— Ой, кто такое? Ктой-та? — суетливо зашарила, забилась в ногах голая ее рука, натягивая рубаху.



Осталось на подушке пятнышко уроненной во сне слюны, — крепок заревой бабий сон.

— Это я. Мать послала побудить вас...

— Мы зараз... Тут у нас не влезешь... От блох на полу спим. Степан, вставай, слышишь? — по голосу Григорий догадывается, что ей неловко, и спешит уйти.

От хутора в майские лагеря уходило человек тридцать казаков. Место сбора — плац. Часам к семи к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие и конные казаки в майских парусинных рубахах, в снаряжении.

Петро на крыльце наспех сшивал треснувший чумбур. Пантелей Прокофьевич похаживал возле петрова коня, подсыпая в корыто овес, изредка покрикивал:

— Дуняшка, сухари зашила? А сало пересыпала солью?

Вся в румянном цвете Дуняшка ласточкой чертила баз от стряпки к куреню, на окрики отца, смеясь, отмахивалась:

— Вы, батя, свое дело управляйте, а я братушке так уложу, што до Черкаскова не ворохнется.

— Не поел? — осведомлялся Петро, склоняя драгву и кивая на коня.

— Жует, — степенно отвечал отец, шершавой ладонью проверяя потники. — Малое дело — крошка или былка прилипнет к потнику, а за один переход в кровь потрет спину коню.

— Доисть пнедой — попоите ево, батя.

— Гришка к Дону сводит. Эй, Григорий, веди коня.

Высокий поджарый донец с белой на лбу вывездыю пошел играучись. Григорий вывел его за калитку, чуть тронув левой рукой холку, вскочил на него — и с места машистой рысью. У спуска хотел придержать, но конь юбился с ноги, зачастил, пошел под гору наметом. Откинувшись назад, почти лежа на спине коня, Григорий увидел спускавшуюся под гору женщину с ведрами. Свернул со стезжки и, обгоняя взбаламученную пыль, врезался в воду.

С горы, покачиваясь, сходила Аксинья, еще издали голосисто крикнула:

— Чертыка бешеный! Чудок конем не стоптал! Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездешь.

— Но-но, соседка, не ругайся. Проводишь мужа в лагерь, может и я в хозяйстве схожусь.

— Как-то ни черт, нужен ты мне!

— Зачнется покос — ишо попросишь, — смеялся Григорий.

Аксинья с подмостей ловко зачерпнула на коромысле ведро воды и, зажимая промеж колен надутую ветром юбку, глянула на Григория.

— Што ж, Степан твой собрался? — спросил Григорий.

— А тебе чево?

— Какая ты... Спросить, што ль, нельзя? Остаешься, стал-быть, жалмеркой?

— Стал-быть, так.

Конь оторвал от воды губы, со скрипом пожевал стекавшую воду и, глядя на ту сторону Дона, стукнул по воде передней ногой. Аксинья зачерпнула другое ведро, перекинув через плечо коромысло, легкой раскачкой пошла на гору. Григорий тронул коня следом. Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая цветным шелком шлычка, розовая рубаха, вобратая в юбку, не морщиясь, охватывала крутую ее спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору, она клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от пота рубахи, провожал глазами каждое ее движение. Ему хотелось снова заговорить с ней.

— Небось, будешь скучать по мужу... а?

Аксинья на ходу повернула голову, улыбнулась.

— А то как же. Ты вот женись, — переводя дух, она говорила прерывисто, — женись, а послая узнаешь, скучают ай нет по дружечке.

Толкнув коня, ровняясь с ней, Григорий заглянул ей в глаза.

— А ить бабы ажник рады, как мужей проводят. Ваша Дарья без Петра толстеть зачинает.

Аксинья, двигая ноздрями, резко дышала; поправляя волосы, сказала:

— Муж — он не уж, а тянет кровя. Тебя-то скоро обженим?

— Не знаю, как батя. Должно, послая службы.

— Молодой ешо, не женись.

— А што?

— Сухота одна.

Глянула она исподлобья, не разжимая губ, скупо улыбнулась. И тут в первый раз заметил Григорий, что губы у нее бесстыдно-жадные, пухловатые. Он, разбирая гриву на прядки, сказал:

— Охоты нету жениться. Какая-нибудь и так полюбит.

— Ай приметил?

— Чево мне примечать... Ты вот проводишь Степана...

— Ты со мной не заигрывай!

— Ушибешь?

— Степану скажу словцо...

— Я твово Степана...

— Гляди, храбрый, слеза капнет.

— Не пужай, Аксинья!

— Я не пужаю. Твое дело с девками. Пушай утирки тебе вышивают, а на меня не заглядывайся.

— Нарошно буду глядеть.

— Ну, и гляди.

Аксинья примиряюще улыбнулась и сошла со стежки, норовя обойти коня. Григорий повернул его боком, загородил дорогу.

— Пусти, Гришка!

— Не пушу.

— Не дури, мне надо мужа собирать.

Григорий, улыбаясь, горячил коня, тот, переступая, теснил Аксинью к яру.

— Пусти, дьявол, вон люди! Увидют, што подумают?

Она метнула по сторонам испуганным взглядом и прошла, хмурясь и не оглядываясь.

На крыльце Петро прощался с родными. Григорий заседал коня. Придерживая шашку, Петро торопливо сбежал по порожкам, взял из рук Григория поводья.

Конь, чуя дорогу, беспокойно переступал, пенил, гоняя во рту мундштуки. Поймав ногой стремя, держась за луку, Петро говорил отцу:

— Лысых работой не нури, батя! Заосеняет — продадим. Григорию коня ить справлять. А степную траву, гляди, не продавай, в луку ионе сам знаешь, какие сена будут.

— Ну, с богом. Час добрый, — проговорил старик, крестясь.

Петро привычным движением вскинул в седло свое сбитое тело, поправил сзади складки рубахи, стянутые поясом. Конь пошел к воротам. На солнце тускло блеснула головка шашки, подрагивавшая в такт шагам.

Дарья с ребенком на руках пошла следом. Мать, вытирая рукавом глаза и углом завески покрасневший нос, стояла посреди база.

— Братушка, пирожки! Пирожки забыл!.. Пирожки с картошкой!.. Дуняшка козой скакнула к воротам.

— Чего орешь, дура! — досадливо крикнул на нее Григорий.

— Остались пирожки-и! — прислонясь к калитке, стонала Дуняшка, и на измазанные горячие щеки, а со щек на будничную кофтенку — слезы.

Дарья из-под ладони следила за белой, занавешенной пылью рубахой мужа. Пантелей Прокофьевич, качая подгнивший столб у ворот, глянул на Григория.

— Ворота возьми поправь, да стоянок на углу врой. — Подумав, добавил, как новость сообщил: — Уехал Петро.

Через плетень Григорий видел, как собиоался Степан. Принаряженная в зеленую шерстяную юбку Аксинья подвела ему коня. Степан

улыбаясь, что-то говорил ей. Он, не спеша, по-хозяйски, поцеловал жену и долго не снимал руку с ее плеча. Сожженная загаром и работой рука угольно чернела на белой аксиньиной кофточке. Степан стоял к Григорию спиной, через плетень было видно его тугую, красиво подбритую шею, широкие, немного вислые плечи и, — когда наклонился к жене, — закрученный кончик русого уса.

Аксинья чему-то смеялась и отрицательно качала головой. Рослый вороной конь качнулся, подняв на стремя седока. Степан поехал из ворот торопким шагом, сидел в седле, как врытый, а Аксинья шла рядом, держась за стремя, и снизу вверх, любовно и жадно, по-собачьи, заглядывала ему в глаза.

Так миновали они соседний курень и скрылись за поворотом.

Григорий провожал их долгим неморгающим взглядом.

#### IV

К вечеру собралась гроза. Над хутором стала бурая туча. Дон, взлохмаченный ветром, кидал на берега гребнистые частые волны. За ливадами палила небо сухая молния, давил землю редкими раскатами гром. Под тучей, раскрылатившись, колесил коршун, его с криком преследовали вороны. Туча, дыша холодком, шла вдоль по Дону с запада. За займищем грозно чернело небо, степь выжидающе молчала. По хутору хлопали закрываемые ставни, от вечерни, крестясь, спешили старухи, на плацу колыхался серый столбище пыли, и отягощенную вещней жарою землю уже засевали первые зерна дождя.

Дуняшка, болтая косичками, прошла по базу, захлопнула дверцу курятника и стала посреди база, раздувая ноздри, как лошадь перед препятствием. На улице взбрыкивали ребятишки. Соседский восьмилеток Мишка вертелся, приседая на одной ноге, — на голове у него, закрывая глаза, кружился непомерно просторный отцовский картуз, — и пронзительно верещал:

Дождюк, дождюк, припусти.  
Мы поедем во кусты,  
Богу молитца,  
Христу поклонитца.

Дуняшка завистливо глядела на босые, густо усыпанные цыпками мишкины ноги, ожесточенно топтавшие землю. Ей тоже хотелось приплясывать под дождем и мочит голову, чтоб волос рос густой и курчавый; хотелось вот так же, как мишкиному товарищу, укрепиться на придорожной пыли вверх ногами, с риском свалиться в колочки, — но в окно глядела мать, сердито шлепая губами. Вздохнув, Дуняшка побежала в курень. Дождь спустился ядерный и частый. Над самой крышей лопнул гром, осколки покатались за Дон.

В сених отец и потный Гришка тянули из бокоушки скатанный бредень.

— Ниток суровых и иглу-цыганку, шибко! — крикнул Дуняшке Григорий.

В кухне зажгли огонь. Зашивать бредень села Дарья. Старуха укачивала дитя, бурчала:

— Ты, старый, сроду на выдумки. Спать ложились бы, газ все дорожает, а ты жгешь. Какая теперича ловля? Куда вас чума понесет? Ишо перетопнете, там ить на базу страсть господня. Ишь, ишь, как полыхает! Господи Иисусе Христе, царице небес...

В кухне на секунду стало ослепительно сине и тихо, слышно было, как ставни царапал дождь, следом ахнул пром. Дуняшка пискнула и ничком ткнулась в бредень. Дарья мелкими крестиками обмахивала окна и двери.

Старуха страшными глазами глядела на ластившую у ног ее кошку.

— Дунька! Го-о-ни, ты, ее прок... царица небесная, прости меня гршницу. Дунька, кошку выкинь на баз. Брось, ты, нечистая сила. Штоб ты...

Григорий, уронив камол бредня, трясся в беззвучном хохоте.

— Ну, чево вы вскагакались? Цыцте! — прикрикнул Пантелей Прокофьевич. — Бабы, живо зашивайте! Надысь ишо говорил: оглядите бредень.

— И какая теперя рыба, — заикнулась-было старуха.

— Не разумеешь, — молчи! Самое стерлядей на косе возьмем. Рыба к берегу зараз идет, боится бурю. Вода, небось, уж мутная пошла. Ну-ка, выбеги, Дуняшка, послухай — играет ерик?

Дуняшка нехотя бочком подвинулась к дверям.

— Кто ж бродить пойдет? Дарье нельзя, моготь пруди застудит, — не унималась старуха.

— Мы с Гришкой, а с другим бреднем — Аксиныю покличем, ково-нибудь ишо из баб.

Запыхавшись, вбежала Дуняшка. На ресницах, подрагивая, висли дождевые капельки. Пахнуло от нее отсыревшим черноземом.

— Ерик гудет, ажник страшно!

— Пойдешь с нами бродить?

— А ишо кто пойдет?

— Баб покличем.

— Пойду!

— Ну, накинь зипун и скачи к Аксинье. Ежели пойдет, пущай покличет Малашку Фролову.

— Энта не замерзнет, — улыбнулся Григорий, — на ней жиру, как добром борове.

— Ты бы сенца сухова взял, Гришунька, — советовала мать. Под сердце подложишь, а то нутре застудишь.

— Григорий, мотай за сеном. Старуха верное слово сказала.

Вскоре привела Дуняшка баб. Аксинья в рваной, подпоясанной веревкой кофтенке и в синей исподней юбке выглядела меньше ростом, худее. Она, пересмеиваясь с Дарьей, сняла с головы платок, потуже закрутила в узел волосы и, покрываясь, откинув голову, холодно оглядела Григория. Толстая Малашка подвязывала у порога чулки, хрипела простуженно:

— Мешки взяли? Истинный бог, мы ноне шатанем рыбу.

Вышли на баз. На размякшую землю густо лил дождь, пенил лужи, потоками сползал к Дону.

Григорий шел передом. Подмывало его беспричинное веселье.

— Гляди, батя, тут канава.

— Эка темень-то!

— Держись, Аксиюшка, при мне, вместе будем в тюрьме, — хрипло хохочет Малашка.

— Гляди, Григорий, никак майданниковых пристань?

— Она и есть.

— Отсель... зачинать... — осиливая хлобыстающий ветер, шумит Пантелей Прокофьевич.

— Не слышно, дяденька! — хрипит Малашка.

— Заброди, с богом... Я от глуби. От глуби говорю... Малашка, дьявол глухой, куды тянешь? Я пойду от глуби!.. Григорий! Гришка! Аксинья пушай от берега!

У Дона стонущий рев. Ветер на клочья рвет косое полотнище дождя.

Ощупывая ногами дно, Григорий по пояс окунулся в воду. Липкий холод дополз до груди, обручом стянул сердце. В лицо, в накрепко зажмуренные глаза, словно кнутом, стегает волна. Бредень надувается шаром, тянет вглубь. Обутые в шерстяные чулки ноги Григория скользят по песчаному дну. Камол рвется из рук. Глубже, глубже... Уступ. Срываются ноги. Течение порывисто несет к середине, всасывает. Григорий правой рукой с силой опребается к берегу. Черная, колышущаяся глубина пугает его, как никогда. Нога радостно наступает на зыбкое дно. В колено стучается какая-то рыба.

— Обходи глубе! — откуда-то из вязкой черни голос отца.

Бредень, накренившись, опять ползет в глубину, опять течение рвет из-под ног землю, и Григорий, задирая голову, плывет, отплеывается.

— Аксинья, жива?

— Жива покедова.

— Никак перестает дождик?

- Маленький перестает, зараз большой тронется.
- Ты потихоньку. Отец услышит — ругаться будет.
- Испужался отца, а тоже...

С минуту тянут молча. Вода, как липкое тесто, вяжет каждое движение.

— Гриша, у берега кубыть карша. Надоть обвесть.

Страшный толчок далеко отшвыривает Григория. Грохочущий всплеск, — будто с яра рухнула в воду глыбца породы.

— А-а-а-а! — где-то у берега визжит Аксинья.

Перепутанный Григорий, вынырнув, плывет на крик.

— Аксинья!

Ветер и текущий шум воды.

— Аксинья! — холодея от страха, кричит Григорий.

— Э-гей!.. При-т-о-р-и-и-й!.. — издали приглушенный отцов голос.

Григорий кидает взмахи. Что-то вязкое под ногами, схватил рукой, — бредень.

— Гриша, где ты?.. — плачущий аксиньин голос.

— Чево ж не откликалась-та? — сердито орет Григорий, на четвереньках выбираясь на берег.

Присев на корточки, дрожа разбирают спутанный комом бредень. Из прорехи разорванной тучи вылупливается месяц. За займищем сдержанно поговаривает гром. Лоснится земля непитанной влагой. Небо, выстиранное дождем, строго и ясно.

Распутывая бредень, Григорий всматривается в Аксинью. Лицо ее мелово бледно, но красные, чуть вывернутые губы уже смеются.

— Как оно меня шибанет на берег, — переводя дух, рассказывает она, — от ума отошла! Спужалась до смерти! Я думала — ты утоп.

Руки их сталкиваются. Аксинья пробует просунуть свою руку в рукав его рубахи.

— Как у тебя тепло-то в рукаве, — жалобно говорит она, — а я замерзла. Колики по телу пошли.

— Вот он, проклятуший сомяка, где саданул!

Григорий раздвигает на середине бредня дыру аршина полтора в поперечнике.

От косы кто-то бежит. Григорий угадывает Дуняшку. Еще издали кричит ей:

— Нитка у тебя?

— Туточка.

Дуняшка, запыхавшись, подбегает.

— Вы чего ж тут сидите? Батянька прислал, штоб скорей шли к косе. Мы там мешок стерлядей наловили! — в голосе Дуняшки нескрываемое торжество.

Аксинья, лязгая зубами, зашивает дыру в бредне. Рысью, чтобы согреться, бегут на косу.

Пантелей Прокофьевич крутит цыгарку рубчатыми от воды и пухлыми, как у утопленника, пальцами; приплясывая, хвалится:

— Раз забрели — восемь штук, а в другой раз... — он делает передышку, закуривает и молча показывает ногой на мешок.

Аксинья с любопытством заглядывает. В мешке скрежещущий треск: прется живая еще стерлядь.

— А вы чего ж отбились?

— Сом бредень просадила.

— Зашили?

— Кое-как ячейки посцепили...

— Ну, дойдем до колена — и домой. Забредай, Гришка, чево ж взноровался?

Григорий переступает одеревеневшими ногами. Аксинья дрожит так, что дрожь ее ощущает Григорий через бредень.

— Не трясись!

— И рада б, да дух не переведу.

— Давай вот што... Давай вылазить, будь она проклята рыба эта!

Крупный сазан бьет через бредень золоченым штопором. Учащая шаг, Григорий загинает бредень, Аксинья, согнувшись, выбегает на берег. По песку шуршит схлынувшая назад вода, трепещет рыба.

— Через займище пойдем?

— Лесом ближе. Эй, вы там, скоро?

— Идите, догоним. Бредень вот пополоסקаем.

Аксинья, морщась, выжала юбку, подхватила на плечи мешок с уловом и почти рысью пошла по косе. Григорий нес бредень. Прошли сажень сто. Аксинья заохала.

— Моченьки моей нету! Ноги с пару сошлись.

— Вот прошлогодняя копна, может погреешься?

— И то. Покедова до дому дотянешь — помереть можно.

Григорий свернул на бок шапку копны, вырыл яму. Слежалое сено ударило горячим запахом прели.

— Лезь в середку. Тут, как на печке.

Аксинья, кинув бредень, по шее зарылась в сено.

— То-то благодать!

Подрагивая от холода, Григорий прилег рядом. От мокрых аксиньиных волос тек нежный волнующий запах. Она лежала, запрокинув голову, мерно дыша полукрытым ртом.



— Волосы у тебя дурнопьяном пахнут. Знаешь, этак цветком белым... — шепнул, наклонясь, Григорий.

Она промолчала. Туманен и далек был взгляд ее, устремленный на ущерб колосистого месяца.

Григорий, выпростав из кармана руку, внезапно притянул ее голову к себе. Она резко рванулась, привстала.

— Пусти!

— Помалкивай.

— Пусти, а то зашумлю!

— погоди, Аксинья...

— Дядя Пантелей!..

— Ай заблудилась? — совсем близко, из зарослей боярышника отозвался Пантелей Прокофьевич.

Григорий, сомкнув зубы, прыгнул с копны.

— Ты чево шумишь? Ай заблудились? — подходя, переспросил старик.

Аксинья стояла возле копны, поправляя обитый на затылок платок. Над нею дымился пар.

— Заблудиться-то нет, а вот было-к замерзнула.

— Тю, баба, а вот, гля, копна. Посогрейся.

Аксинья улыбнулась, нагнувшись за бреднем.

## V

До хутора Сетракова — места лагерного сбора — шестьдесят верст. Петро Мелехов и Астахов Степан ехали на одной бричке. С ними еще трое казаков-хуторян: Федот Бодовсков, молодой, калмыковатый и рябой казак, второочередник лейб-гвардии атаманского полка, Хрисанф Токин, по прозвищу Христоня, и батареец Томилин Иван. В бричку после первой же кормежки запрягли двухвершкового христонинного коня и вороного — Степана Астахова. Остальные три лошади, оседланные, шли сзади. Правил здоровенный и дурковатый, как все атаманцы, Христоня. Колесом согнув спину, сидел он впереди, заслонял в будку свет, путал лошадей гулким октавистым басом. В бричке, обтянутой новеньким брезентом, лежали, покуривая, Петро Мелехов, Степан и батарец Томилин. Федот Бодовсков шел сзади; видно, не в тягость было ему втыкать в пыльную дорогу кривые свои калмыцкие ноги.

Христонина бричка шла головной. Сзади тянулись еще семь или восемь запряжек с привязанными оседланными и неоседланными лошадьми.

Вихрились над дорогой хохот, крики, тягучие песни, конское порсканье, перезвук порожних стремян.

У Петра в головах сухарный мешок. Лежит Петро и крутит желтый длинночий ус.

— Степан!

— А?

— ...на! Давай служивскую заиграем?

— Жарко дюже. Ссохлось все.

— Кабаков нету на ближних хуторах, не жди!

— Ну, заводи. Да ты ить не мастак. Эх, Гришка ваш дишканит! Потянет—чисто нитка серебряная, не голос. Мы с ним на игрицах драли.

Степан откидывает голову, прокашлявшись, заводит низким звучным голосом:

Эх, ты, зоренька-зарница,  
Рано на небе возшла...

Томилин по-бабы прикладывает к щеке ладонь, подхватывает тонким, стеньящим подголоском. Улыбаясь, заправив в рот усину, смотрит Петро, как у грудастого батарейца синеют от усилия узелки жил на висках.

Молодая—вот она, бабенка,  
Поздно по воду пошла...

Степан лежит к Христоня головой, поворачивается, опираясь на руку, тутая красивая шея розовеет.

— Христоня, подмоги!

А мальчишка, он догадался,  
Стал коня свою седлать...

Степан переводит на Петро улыбающийся взгляд выпученных глаз, и Петро, выгнув изо рта усину, присоединяет голос. Христоня, разинув непомерную залохматевшую щетиной пасть, ревет, сотрясая брезентовую крышу будки:

Оседлал коня гнедова—  
Стал бабенку догонять...

Христоня кладет на ребро аршинную босую ступню ноги, ожидает, пока Степан начнет вновь. Тот, закрыв глаза, — потное лицо в тени, — ласково ведет песню, то снижая голос до шопота, то вскидывая до металлического звона.

Ты позволь, позволь, бабенка,  
Коня к речке напоить...

И снова колокольню-набатным гудом давит Христоня голоса. Вливаются в песню голоса и с соседних бричек. Поцокивают колеса на железных ходах, чихают от пыли кони, тягучая и сильная, полной водой

течет над дорогой песня. От высыхающей степной музги, из горелой коричневой куги взлетывает белокрылый чибис. Он с криком летит в лощину, поворачивая голову, смотрит изумрудным глазком на цепь повозок, обтянутых белым, на лошадей, кудрявящих смачную пыль копытами; на людей в белых просмоленных пылью рубахах, шагающих сбочь дороги. Чибис падает в лощине, черной грудью ударяет в подсыхающую, примятую зверем траву и не видит, что творится на дороге. А по дороге также громяют брички, также нехотя переступают запотевшие под седлами кони, лишь казаки в серых рубахах быстро перебегают от своих бричек к передней, прудятся вокруг нее, стонут в хохоте.

Степан во весь рост стоит на бричке, одной рукой держится за брезентовый верх будки, другой коротко взмахивает, сыплет мельчайшей, подмывающей скороговоркой:

Не садися возле меня,  
Не садися возле меня,  
Люди скажут: любишь меня,  
Любишь меня,  
Ходишь ко мне,  
Любишь меня,  
Ходишь ко мне,  
А я роду не простова...

Десятки грубых голосов хватают на лету, ухают, стелют на придорожную пыль:

А я роду не простова.  
Не простова,—  
Воровскова.  
Воровскова—  
Не простова,  
Люблю сына князевского...

Федот Бодовсков свищет, приседая, рвутся из постромок кони, Петро, высовываясь из будки, смеется и махает фуражкой, Степан, сверкая ослепительной усмешкой, озорно поводит плечами; а по дороге бупром движется пыль; Христоня в распоясанной длиннеющей рубахе, патлатый, мокрый от пота, ходит в присядку, кружится маховым колесом, хмурясь и стоная, делает казачка, и на сером шелковье пыли остаются чудовищные разлапистые следы босых его ног.

## VI

Возле лобастого, с желтой песчаной лысиной кургана остановились ночевать.

С запада шла туча. С черного ее крыла сочился редкий дождь. Поили коней в пруду. Над плотиной горбатились под ветром унылые вербы. В воде, покрытой застойной зеленью и чешуей убогих волн, от-

ражаясь, коверкалась молния. Ветер скупно крошил дождевые капли, будто милостыню сыпал на черные ладони земли.

Стреноженных лошадей пустили на попас, назначив в караул трех человек. Остальные разводили огни, вешали котлы на дышла бричек.

Христоня кашеварил. Помешивая ложкой в котле, рассказывал сидевшим вокруг казакам:

— ...Курган, стал-быть, высокий, навроде этова. Я и говорю покойничку-бате: «А што, атаман не забастует нас за то, што без всякова, стал-быть, дозволенья зачнем курган потрошить?»

— Об чем он тут брешет? — спросил вернувшийся от лошадей Степан.

— Рассказываю, как мы с покойничком-батей, — царство небесное старику, — клад искали.

— Иде же вы его искали?

— Это, браток, аж за фетисовой балкой. Да ты знаешь Меркулов курган...

— Ну-ну...

Степан присел на корточки, положил на ладонь головешку. Плямякая губами, долго прикуривал, катал по ладони уголек.

— Ну вот. Стал-быть, батя говорит: «Давай, Христан, раскопаем Меркулов курган». От деда слышал он, што в нем зарытый клад. А клад, стал-быть, не каждому в руки дается. Батя сулил богу: отдашь, мол, — клад-церкву прекрасную выстрою. Вот мы порешили и поехали туда. Земля станишная, сумнение от атамана могло только быть. Приезжаем к ноци. Дождались покель смеркнется, кобылу, стал-быть, стреножили, а сами с лопатами залезли на макушку. Зачали бузовать прямо с темячка. Вырыли яму аршина в два, земля — чисто каменная, захрясла от давности. Взмок я. Батя все молитвы шепчет, а у меня, братцы, верите, до тово в животе бурчит... В летнюю пору, стал-быть, харч вам звестный: кислое молоко ды квас... Перехватит поперек живот, смерть в глазах, и все! Батя-покойничек, царство ему небесное, и говорит: «Фу, — говорит, — Христан, и поганец ты! Я молитву прочитываю, а ты не можешь пищу сдерживать, дыхнуть, стал-быть, нечем. Иди, — говорит, — слазь с кургана, под такую мать, а то я тебе голову лопатой срублю. Через тебя, поганца, клад может в землю уйтить!» Я лег под курганом и страдаю животом, взяло на колотье, а батя-покойничек, — здоровый был, чертяка! — копает один. И дорылся он до каменной плиты. Кличет меня. Я, стал-быть, подовзел ломом, поднял эту плиту... Верите, братцы, ночь месячная была, а под плитой так и блестит...

— Ну, и брешешь ты, Христоня! — не вытерпел Петро, улыбаясь и дергая ус.

— Чево брешешь? Пошел ты к тетери-ятери, к ядерной матери — Христоня подсмькнул широченные шаровары и оглядел слушателей. — Нет, стал-быть, не брешу! Истинный бог — правда!

— К берегу-то прибивайся!

— Так, братцы, и блеснит. Я — глядь, а это, стал-быть, сожгонный уголь. Там его было мер сорок. Батя и поворит: «Лезь, Христан, выгребай его». Полез. Кидал, кидал этую спрамоту, до самово света хватило. Утром, стал-быть, глядь, а он — вот он.

— Кто? — поинтересовался лежавший на попоне Томилин.

— Да атаман, кто же. Едет в пролетке: «Кто дозволил, такие сьякие?» Молчим. Он нас, стал-быть, сгреб — и в станицу. Позапрошлый год в Каменскую на суд вызывали, а батя догадался, успел помереть. Отписали бумагой, что в живых его нету.

Христоня снял котел с дымившейся кашей, пошел к повозке за ложками.

— Што ж отец-то? Сулил церкву построить, да так и не построил? — спросил Степан, дождавшись, пока Христоня вернулся с ложками.

— Дурак ты, Степа, што ж он за уголья, стал-быть, строил-ба?

— Раз сулил — значица должен.

— В щет угольев не было никакого уговору, а клад...

От хохота дрогнул огонь. Христоня поднял от котла простоватую голову и, не разобрав в чем дело, покрыл голоса остальных густым гоготом.

## VII

Аксинью выдали за Степана семнадцати лет. Взяли ее с хутора Дубровки, с той стороны Дона, с песков.

За год до выдачи осенью пахала она в степи, верст за восемь от хутора. Ночью отец ее, пятидесятилетний старик, связал ей треногой руки и изнасиловал.

— Убую, ежели пикнешь слово, а будешь помалкивать — справлю плюшевую кофту и гетры с калошами. Так и попомни: убую, ежели што... — пообещал он ей.

Ночью, в одной изорванной исподнице, прибежала Аксинья в хутор. Валялась в ногах у матери, давясь рыданиями, рассказывала.. Мать и старший брат, атаманец, только что вернувшийся со службы, запрягли в бричку лошадей, посадили с собой Аксинью и поехали туда, к отцу. За восемь верст брат чуть не запалил лошадей. Отца нашли возле стана. Пьяный, спал он на разостланном зипуне, около валялась порожняя изпод водки бутылка. На глазах у Аксиньи брат отцепил от брички барок, ногами поднял спящего отца, что-то коротко спросил у него и ударил окованным барком старика в поясницу. Вдвоем с матерью били его

часа полтора. Всегда смиренная, престарелая мать иступленно дергала на обеспамятевшем муже волосы, брат старался ногами. Аксинья лежала под бричкой, укутав голову, молча тряслась... Перед светом привезли старика домой. Он жалобно мычал, шарил по горнице глазами, отыскивая спрятавшуюся Аксинью. Из оторванного уха его катилась на подушку кровь и белесь. К вечеру он помер. Людям сказали, что пьяный упал с арбы и убили.

А через год приехали на нарядной бричке сваты за Аксинью. Высокий, крутошей и статный Степан невесте понравился, на осенний мясоед назначили свадьбу. Подошел такой предзимний с морозцем и веселым ледозвоном день, окрутили молодых, с той поры и водворилась Аксинья в астаховском доме молодой хозяйкой. Свекровь, высокая, согнутая какой-то жестокой бабьей болезнью старуха, на другой же день после гульбы рано разбудила Аксинью, привела ее на кухню и, бесцельно переставляя рогачи, сказала:

— Вот што, милая моя сношенька, взяли мы тебя не кохаться да не вылеживаться. Иди-ка передой коров, а послая становись к печке стряпать. Я — старая, немощь одолевает, а хозяйство ты к рукам бери, за тобой оно ляжет.

В этот же день в амбаре Степан обдуманно и страшно избил молодую жену. Бил в живот, в пруди в спину; бил с таким расчетом, чтобы не видно было людям. С той поры стал он прихватывать на стороне, путался с гулящими жалмерками, уходил чуть не каждую ночь, замкнув Аксинью в амбаре или горенке.

Пока полтора не прощал ей обиду, пока не родился ребенок. После этого притих, но на ласку был скуп и попрежнему редко ночевал дома.

Большое многоскотинное хозяйство затянуло Аксинью работой. Степан работал с ленцой: начесав чуб, уходил к товарищам покурить, перекинуться в картишки, побрехать о хуторских новостях, а скотину убирать приходилось Аксинье, ворочать хозяйством ей. Свекровь была плохая помощница. Посуетившись, падала на кровать и, вытянув в нитку блеклую желтень губ, глядя в потолок звереющими от боли глазами, стонала, сжималась в комок. В такие минуты на лице ее, испятнанном черными уродливо-крупными родинками, выступал обильный вонючий пот; в глазах накоплялись и часто, одна за одной, стекали слезы. Аксинья, бросив работу, забивалась где-нибудь в угол и со страхом и жалостно глядела на свекровьино лицо.

Через полтора года старуха умерла. Утром у Аксиньи начались предродовые схватки, а к полдню, за час до появления ребенка, свекровь умерла на ходу, возле дверей старой конюшни. Повитуха, выбежавшая из куреня предупредить пьяного Степана, чтобы не ходил к родильнице, увидела лежащую с поджатыми ногами аксиньину свекровь.

Аксинья привязалась к мужу после рождения ребенка, но не было у нее к нему чувства, — была горькая бабья жалость да привычка. Ребенок умер, не дожив до года. Старая развернулась жизнь. И когда Мелехов Гришка, заигрывая, стал Аксинье поперек пути, — с ужасом увидела она, что ее тянет к черному ласковому парню. Он упорно, с бугайной настойчивостью ее обхаживал. И это-то упорство и было страшно Аксинье. Она видела, что он не боялся Степана, нутром чуяла, что так он от нее не отступится, и, разумом не желая этого, сопротивляясь всеми силами, замечала за собой, что по праздникам и в будни стала тщательней наряжаться, обманывая себя, норовили почаще поподаться ему на глаза. Тепло и приятно ей было, когда черные гришкины глаза ласкали ее тяжело и исступленно. На заре просыпаясь доить коров, она улыбалась и, еще не сознавая отчего, вспоминала: «Нынче что-то есть радостное. Что же? Григорий. Гриша». Пугало это новое, заполнявшее все ее чувство, и в мыслях шла ощупью, осторожно, как через Дон по мартовскому ноздреватому льду.

Проводив Степана в лагери, решила с Гришкой видаться как можно реже. После ловли бреднем решение это укрепились в ней еще прочнее.

### VIII

За два дня до Троицы хуторские растрясали луг. На дележ ходил Пантелей Прокофьевич. Пришел оттуда в обед, кряхтя скинул чирики, и смачно почесывая натруженные ходьбой ноги, сказал.

— Досталась нам деляна возле Краснова яра. Трава не особо, штоб джоже добрая. Верхний конец до лесу доходит, кой-где — голоще-чины. Пырейчик проскакивает.

— Когда ж косить? — спросил Григорий.

— С праздников.

— Дарью возьмете, што ль?

Нахмурилась старуха. Пантелей Прокофьич махнул рукой — «отвяжись, мол».

— Понадобится — возьмем. Полудновать-то собирай, чево стоишь, раскрылилась.

Старуха загремела заслонкой, выволокла из печи пригретые щи. За столом Пантелей Прокофьевич долго рассказывал о растряске и жульковатом атамане, чуть-было не обмошенничавшем весь сход.

— Он и энтог год смухлевал, — вступилась Дарья. — Отбивали улешу, так он подговаривал все Малашку Фролову канаться.

— Стерва давнишняя, — жевал Пантелей Прокофьевич.

— Батяня, а копнить, гресть кто будет? — робко спросила Дуняша.

— А ты чево будешь делать?

— Одной, батяня, не управно.

— Мы Аксютку Астахову покличем. Степан надысь просил ско-  
сить ему. Надо уважить.

На другой день утром к мелеховскому базу под'ехал верхом на подседланном белоногом жеребце Митька Коршунов. Побрызгивал дождь. Хмарь висела над хутором. Митька, перегнувшись в седле, открыл калитку и в'ехал на баз. Его с крыльца окликнула старуха.

— Ты, забурунный, чево прибег? — спросила она с видимым не-  
удовольствием (недолюбливала старая отчаянного и драчливого Митьку).

— И чево тебе, Ильинишна, надоть? — привязывая к перилам  
крыльца жеребца удивился Митька, — я к Гришке приехал. Он где?

— Под сараем спит. Тебя, што ж, аль паралик вдарил? Пешки,  
стал-быть, не можешь ходить?

— Ты, тетинька, каждой дыре гвоздь.

Обиделся Митька. Раскачиваясь, помахивая и щелкая нарядной  
плеткой по голенищам лакированных сапог, пошел он под сарай. Гри-  
горий спал в снятой с передка арбе. Митька, жмуря левый глаз, словно  
целясь, вытянул Григория плетью.

— Вставай, мужик!

«Мужик» у Митьки было слово самое ругательное. Григорий вски-  
нулся пружиной.

— Ты чево?

— Будя зоревать!

— Не дури, Митрий, покеда не осерчал...

— Вставай, дело есть.

— Ну?

Митька присел на грядущку арбы и, обивая с сапога плетью  
присохшее пярзцо, сказал:

— Мне, Гришка, обидно...

— Ну?

— Да как же, — Митька длинно ругнулся, — он не он — сотник,  
так и задается.

В сердцах он, не разжимая губ, быстро кидал слова, дрожал но-  
гами. Григорий привстал.

— Какой сотник?

Хватая его за рукав рубахи, Митька уже тише сказал:

— Зараз седлай коня и побегем в займище. Я ему покажу! Я ему  
так и сказал: «Давай, ваше благородие, спробуем». — «Веди, — крик, —  
всех друзей-товарищев, я вас всех покрою, затем, што мать моей  
кобыли в Петербурге на офицерских скачках призы•сымала». Да по



мне ево кобыла и с матерью — да будь они прокляты! — а я жеребца не дам обскакать!

Григорий наспех оделся. Митька ходил за ним по пятам, заикаясь от злобы, рассказывал:

— Приехал на гости к Мохову купцу этот самый сотник. Погоди, чей он прозвищем? Кубить, Листницкий. Такой из себя тушистый, сурьезный. Очки носит. Ну, да нехай! Даром, што он в очках, а жеребца не дамся обогнать!

Посмеиваясь, Григорий оседлал старую, оставленную на племя матку и через гуменные ворота, чтоб не видел отец, выехал в степь. Ехали к займищу над горой. Копыта лошадей, чавкая, жевали грязь. В займище возле высохшего тополя их ожидали конные: сотник Листницкий на поджарой красавице-кобылице и человек семь хуторских ребят верхами.

— Откуда скакать? — обратился к Митьке сотник, поправляя пенсне и любясь могучими прудными мускулами митькиного жеребца.

— От тополя до Царева пруда.

— Где это Царев пруд? — близоруко ющурился сотник.

— А вон, ваше благородие, возле леса.

Лошадей построили. Сотник поднял над голову плетку. Погон на его плече вспух бутром.

— Как скажу «три» — пускать! Ну? Раз, два... три!

Первый рванулся сотник, припадая к луке, придерживая рукой фуражку. Он на секунду опередил остальных. Митька с отчаянно бледным лицом привстал на стременах; казалось Григорию: томительно долго опускал на круп жеребца поднятую над головой плеть.

От тополя до Царева пруда — версты три. На полпути митькин жеребец, вытягиваясь в стрелку, настиг кобылицу сотника. Григорий скакал нехотя. Отстав с самого начала, он ехал куцым наметом, с любопытством наблюдая за удалявшейся, разбитой на звенья цепкой скакавших.

Возле Царева пруда наносный от внешней воды песчаный увал. Желтый верблюжий горб его чахло порос остролистым змеиным луком. Григорий видел, как на увал разом вскочили и стекли на ту сторону сотник и Митька, за ними по одиночке скользили остальные. Когда под'ехал он к пруду, потные лошади уже стояли кучей, спешившиеся ребята окружали сотника. Митька лоснился сдерживаемой радостью. Торжество сквозило в каждом его движении. Сотник, против ожидания, показался Григорию не мало несконфуженным: он, прислонясь к дереву спиной, покуривая тапирскую, говорил, указывая мизинцем на свою, словно выкупанную кобылицу.

— Я на ней сделал пробег в полтораста верст. Вчера только приехал со станции. Будь она посвежей — никогда, Коршунов, не обогнал бы ты меня.

— Может быть, — великодушничал Митька.

— Резвей его жеребца по всей округе нету, — завидуя сказал веснушчатый паренек, прискакавший последним.

— Конь добрячий. — Митька дрожащей от пережитого волнения рукой похлопал по шее жеребца и, деревянно улыбаясь, глянул на Григория.

Они вдвоем отделились от остальных и поехали под горою, а не улицей. Сотник попрощался с ними холодно — сунул два пальца под козырек и отвернулся.

Уже подъезжая по проулку к двору, Григорий увидел шагавшую им навстречу Аксинью. Шла она, ошипывая хворостинку, увидела Гришку и ниже нагнула голову.

— Чево застыдилась, аль мы телешами едем? — крикнул Митька и подмигнул: — калинушка моя, эх, горьковатенькая!

Григорий, глядя перед собой, почти проехал ее и вдруг огрел мирно шагавшую кобылу плетью. Та присела на задние ноги, взглянув, засыпала Аксинью грязью.

— И-и-и, дьявол дурной!

Круто повернув, наезжая на Аксинью разгоряченной лошадей, Григорий спросил:

— Чево не здороваешься?

— Не стоишь тово!

— За это вот и обляпал. Не гордись.

— Пусти! — крикнула Аксинья, махая руками перед мордой лошади, — што ж ты меня конем топчешь?

— Это кобыла, а не конь.

— Все одно, пусти!

— За што серчаешь, Аксютка? Неужели за надышнее, што в займище?..

Григорий заглянул ей в глаза. Аксинья хотела что-то сказать, но в уголке черного ее глаза внезапно нависла слезинка, жалко дрогнули губы. Она, судорожно глотнув, шепнула.

— Отвяжись, Григорий... Я не серчаю... Я... — и пошла.

Удивленный Григорий догнал Митьку у ворот.

— Придешь ноне на игрище? — спросил тот.

— Нет.

— Што так? Либо ночевать покликала?

Григорий потер ладонью лоб и не ответил.

## IX

От Троицы только и осталось по хуторским дворам: сухой чеборец, рассыпанный на полях, пыль мятых листов, да морщиненная, отжившая зелень срубленных дубовых и ясеневых веток, приткнутых возле ворот и крылец.

С Троицы начался луговой покос. С раннего утра зацвело займище праздничными бабыми юбками, ярким шитвом завесок, красками платков. Выходили на покос всем хутором сразу. Косцы и прабельницы одевались будто на годовой праздник. Так повелось исстари. От Дона до дальних ольховых зарослей шевелился и вздыхал под косами опустошаемый луг.

Мелеховы припозднились. Выехали на покос, когда уже на лугу была чуть не половина хутора.

— Долго зорюешь, Пантелей Прокофич! — шумели припотевшие косари.

— Не моя вина, — бабья! — усмеялся старик и торопил быков плетеным из сырца кнутом.

— Доброе здоровье, односум! Припозднился, браток, припозднился... — качал головой, отбивая у дороги косу, высокий и в соломенной шляпе казак.

— Аль трава пересохнет?

— Рысью поедешь — успеешь, а то и пересохнет. Твой улеш в каком месте?

— А под Красным яром.

— Ну, погоняй рябых, а то не доедешь none.

— Они у меня и рысью бегают.

Сзади на арбе сидела Аксинья, закутавшая от солнца платком все лицо. Из узкой, оставленной для глаз щели она смотрела на сидевшего против нее Григория равнодушно и строго. Дарья, тоже укутанная и принаряженная, свесив между ребер арбы ноги, кормила длинной в прожилках грудью засыпавшего на руках ребенка. Дуняшка подпрыгивала на грядушке, счастливыми глазами разглядывая луг и встречающихся над дорогой людей. Лицо ее веселое, тронутое загаром и у переносицы веснушками, словно говорило: «Мне весело и хорошо от того, что день, подсиненный безоблачным небом, тоже весел и хорош; от того, что на душе вот такой же синий покой и чистота. Мне радостно, и больше я ничего не хочу». Пантелей Прокофьевич, нагягивая на ладонь рукав бязевой рубахи, вытирал набегавший из-под козырька пот. Согнутая спина его, плотно облитая рубахой, темнела мокрыми пятнами. Солнце насквозь пронизывало седой каракуль туч, опускало на далекие, серебряные обдонские горы, степь, займище и хутор веер дымчатых преломленных лучей.

День перекипал в зное. Обдерганные ветром тучки ползли вяло, не обгоняя тянувшихся по дороге быков Пантелея Прокофьевича. Сам он тяжело поднимал кнут, помахивал им словно в нерешительности: ударить по острым бычьим кострецам или нет. Быки, видно понимая это, не прибавляли шагу, — так же медленно, ющупью переставляли клешнятые ноги, мотали хвостами. Пыльно-золотистый, с оранжевым отливом, слепень кружился над ними.

• Луг, скошенный возле хуторских гумен, светлел бледно-зелеными пятнами; там, где еще не сняли траву, ветерок шершавил зеленый с глянцевиной чернью травяной шелк.

— Вот наша делянка, — махнул кнутом Пантелей Прокофьевич.

— От лесу будем начинать? — спросил Григорий.

— Можно и с этого краю. Тут я глаголь вырубил лопатой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним гои, пошел искать отметину — вырубленный у края глаголь.

— Бери косы, — вскоре крикнул он, махая рукой.

Григорий пошел, уминая траву. От арбы по траве потек за ним колыхающийся след. Пантелей Прокофьевич перекрестился на беленький стрючек далекой колокольни и взял косу. Горбатый нос его блестел, как свежелакированный, в впадинах черных щек томилась испарина. Он улыбнулся, разом обнажив в вороной бороде несчетное количество белых, смоченных слюной частых зубов, и занес косу, поворачивая морщиненную шею вправо. Саженное полукружье смахнутой травы легло под его ногами.

Григорий шел за ним следом, полузакрыв глаза, стелил косой травье. Впереди рассыпанной радугой цвели бабьи завески, но он искал глазами одну: белую с прошитой каймой; оглядывался на Аксиныю и, снова приноравливаясь к отцову шагу, махал косой.

Аксиныя неотступно была в его мыслях; полузакрыв глаза, мысленно целовал ее бесстыдно и нежно, говорил ей от куда-то набродившие на язык горячие и немые слова, потом отбрасывал это, шагал под счет — раз, два, три — память подсовывала отрезки воспоминаний: «сидели под мокрой копной... в ендове свиристела турчелка... месяц над займищем... и с куста в лужину редкие капли, вот так же — раз, два, три... хорошо, ах, хорошо-то!...»

Возле стана засмеялись. Григорий оглянулся: Аксиныя, наклоняясь, что-то говорила лежавшей под арбой Дарье, та замахала руками, и снова обе засмеялись. Дуняшка сидела на вие, тонюсеньким голоском пела.

«Дойду вон до этого кустика, косу отобью», — подумал Григорий, и почувствовал, как коса прошла через что-то вязкое. Нагнулся по-

смотреть: из-под ног с писком поковылял в траву маленький дикий утенок. Около ямки, где было гнездо, валялся другой, перерезанный косой на-двое, остальные с чулоканьем рассыпались по траве. Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. Изжелта-коричневый, на-днях только вылупившийся из яйца, он еще таил в пухе живое тепло. На плоском раскрытом клювике — розовенький пузырек кровицы, бисеринка глаза хитро прижмурена, мелкая дрожь горячих еще лапок. Григорий с внезапным чувством острой жалости глядел на мертвый комочек, лежащий у него на ладони.

— Чего нашел, Гришунька?..

По скошенным рядам, подпрыгивая, бежала Дуняшка. На груди ее металась мелко заплетенные косички. Морщась, Григорий уронил утенка, злобно махнул косой.

После обеда бабы начали гресть. Скошенная трава вяла и сохла, излучая тягучий дурманящий аромат. Обедали на скорях. Сало и казачья присяга — откидное кислое молоко, привезенное из дому в сумке. Весь обед.

— Домой ехать не из чего, — сказал за обедом Пантелей Прокофьевич, — пуцай быки попасутся в лесу, а завтра, как подберет солнце росу, докосим.

Смеркалось, когда бросили косить. Аксинья допребала остатние ряды, пошла к стану варить кашу. Весь день она зло высмеивала Григория, глядела на него ненавистными глазами, словно мстила за большую незабываемую обиду. Григорий, хмурый и какой-то полинявший, упнал к Дону поить быков. Отец наблюдал за ним и за Аксиньей все время. Неприязненно поглядывая на Григория сказал:

— Повечеряешь, а послая постереги быков. Гляди, в траву не пуцай. Зипун мой возьми.

Дарья уложила под арбой дитя и с Дуняшкой пошла в лес за хвостом.

Над займищем по черному недоступному небу, избочившись, шел ущербленный месяц. Над огнем метелицей порошили бабочки. Возле костра на раскинутом ряднице собрали вечерять. В плевом задымленном котле перекипала каша. Дарья подолом исподней юбки вытерла ложки, крикнула Григорию:

— Иди вечерять.

Григорий в накинута на плечи зипуне вылез из темноты и подошел к огню.

— Ты чего это такой ненастный? — улыбнулась Дарья.

— К дождю, видно, поясницу ломит, — попробовал Григорий отшутиться.

— Он быков стеречь не хочет, ей-богу, — Дуняшка улыбнулась, подсаживаясь к брату, заговорила с ним, но разговор как-то не плелся.

Пантелей Прокофьевич истово хлебал кашу, хрустел на зубах недоваренным пшеном. Аксинья ела, не поднимая глаз, на шутки Дарьи нехотя улыбалась. Испепеляя щеки, сжигал ее беспокойный румянец.

Григорий встал первый, ушел к быкам.

— Гляди, траву чужую быками не потрави! — вслед ему крикнул отец и погрхнулся кашей. Долго трескуче кашлял.

Дуняшка пыжила щеки, надуваясь смехом. Догорал огонь. Глеущий хворост обволакивал сидевших медовым запахом прижатой листвы.

В полночь Григорий, крадучись, подошел к стану, стал шагах в десяти. Пантелей Прокофьевич сыпал на арбу переливчатый храп. Из-под пепла золотым павлиньим глазом высматривал незалитый с вечера огонь.

От арбы оторвалась серая укутанная фигура и зигзагами медленно двинулась к Григорию. Не доходя два-три шага, остановилась. Аксинья... Она... Гулко и дробно сдвоило у Григория сердце; приседая, шагнул вперед, откинув полу зипуна, прижал к себе послушную, полыхающую жаром. У нее подгибались в коленях ноги, дрожала вся, сотрясаясь, вызванивая зубами. Рывком кинул ее Григорий на руки, — так кидает волк к себе на хребтину зарезанную овцу, — путаясь в полах распханутого зипуна, задыхаясь побежал.

— Ой, Гри-и-иша... Гри-шень-ка... Отец!..

— Молчи!..

Вырываясь, дыша в зипуне кислиной овечьей шерсти, давясь горечью раскаяния, Аксинья почти крикнула низким стонущим голосом:

— Пусти, чево уж теперь... Сама пойду!..

## X

Не лазоревым алым цветом, а собачьей бесилой, дурнопьяном природожным цветет поздняя бабья любовь.

С лугового покоса переродилась Аксинья. Будто кто отметину сделал на ее лице, тавро выжет. Бабы при встрече с ней ехидно ощерялись, качали головами вслед, девки завидовали, а она гордо и высоко несла свою счастливую, но срамную голову.

— Скоро про гришину связь узнали все. Сначала говорили об этом шопотом, верили и не верили, но после того, как хуторский пастух Кузька курносый на заре увидел их возле ветряка, лежавших под месяцем в невысоком жите, мутно прибойной волной покатились молва.

Дошла и до ушей Пантелея Прокофьевича. Как-то в воскресенье пошел он к Мохову в лавку. Народу не дотолпишься. Вошел — будто раздались, заулыбались. Протиснулся к прилавку, где отпускали мануфактуру. Товар ему взялся отпускать сам хозяин, Сергей Платонович.

— Что-то тебя давненько не видать, Прокофич?

— Делишки все. Неуправка в хозяйстве.

— Что так? Сыны вон какие, а неуправка.

— Што ж сыны-то: Петра вон в лагери проводил, двое с Гришкой и ворочаем.

Сергей Платонович надвое развалил крутую гнедоватую боро́ду, многозначительно скосил глаза на толпившихся казаков.

— Да, голубчик, ты что же это примолчался-то?

— А што?

— Как что? Сына задумал женить, а сам ни гу-гу.

— Какого сына?

— Григорий у тебя ведь неженатый.

— Покеда што не собирался женить.

— А я слышал, будто в снохи берешь... Степана Астахова Аксинью.

— Я от живого мужа?.. Да ты што ж, Платоныч, навроде смеешься? А?

— Какой смех? Слышал от людей.

Пантелей Прокофьевич разгладил на прилавке развернутую штуку материи и, круто повернувшись, захромал к выходу. Он направился прямо домой. Шел по-бычиному, уткнув голову, сжимая связку жилистых пальцев в кулак, заметней припадал на хроющую ногу. Минувя астахов двор, глянул через плетень: Аксинья, нарядная, помолодевшая, покачиваясь в бедрах, шла в курень с порожним ведром.

— Эй, погоди-ка!..

Пантелей Прокофьевич чортом попер в калитку. Аксинья стала, поджидая его. Вошли в курень. Чисто выметенный земляной пол присыпан красноватой супесью, в переднем углу на лавке вынутые из печи пироги. Из горницы пахнет слежалой одеждой и почему-то анисовыми яблоками.

Под ноги Пантелею Прокофьевичу подошел-было полосатый, рябой большеголовый кот. Он сгорбил спину и дружески толкнулся о сапог. Пантелей Прокофьевич шваркнул его об лавку и, глядя Аксинье в брови, крикнул:

— Ты што же это?.. А? Не остыл мужьин след, а ты уж хвост на бок! Гришке я кровь спущу за это самое, а Степану твоему пропишу!.. Пуцай знает!.. Ишь ты, курва, мать твою суку, мало тебя

били!.. Штоб с нонешнева дня и ноги твоей на моем базу не ступало! Шашлы заводить с парнем, а Степан придет, да мне же...

Аксинья, сузив глаза, слушала. И вдруг бесстыдно мотнула подолом, обдала Пантелея Прокофьевича запахом бабьих юбок и грудью пошла на него, кривляясь и скаля зубы.

— Ты што мне свекор? А? Свекор?.. Ты што меня учишь? Иди свою толстозадую учи! На своем базу распоряжайся!.. Я тебя, дьявола хромова, кулятова, в упор не вижу!.. Иди отсель, не пенься, как крех, не спужаешь!..

— Погоди, дура!

— Нечего годить, тебе не родить!.. Ступай, откель пришел! А Гришку твою: захочу, с костями с'ем, и ответа держать не буду!.. Вот нà! Вькуси!.. Ну, люб мне Гришка. Ну? Вдаришь, што ль?.. Мужу пропишешь?.. Пиши хучь наказному атаману, а Гришка мой! Мой! Мой! Владею им и буду владать!..

Аксинья напирала на оробевшего Пантелея Прокофьевича грудью (билась она под узкой кофточкой, как стрепет в осилке), жгла его польемем черных глаз, сыпала слова одно другого страшней и бесстыжей. Пантелей Прокофьевич, подрагивая бровями, отступал к выходу, нащупал поставленный в углу костыль и, махая рукой, задом отворил дверь. Аксинья вытесняла его из сенцев, задыхаясь, выкрикивала, бесновалась:

— За всю жисть, за горькую отлюблю!.. А там хочь убейте!.. Мой Гришка! Мой!

Пантелей Прокофьевич, что-то булькая себе в бороду, зачикилял к дому.

Гришку он нашел в горнице. Не говоря ни слова, достал его костылем вдоль спины. Григорий, изогнувшись, повис на отцовской руке.

— За што, батя?

— За дело, су-у-у-кин сын!..

— За што?

— Не пакости соседу! Не страми отца! Не таскайся, кобелина! — хрипел Пантелей Прокофьевич, тягая по горнице Григория, сисясь вырвать костыль.

— Драться не дам! — глухо сапнул Григорий и, стиснув челюсти, вырвал костыль, на колено его — и хряп!..

Пантелей Прокофьевич сына по шее тугим кулаком.

— На сходе залорю!.. Ах ты, чортово семя, прокля-я-а-атый сын! — сучил он ногами, намереваясь еще раз ударить. — На Марфушке-дурочке женю!.. Я те выхолощу!.. Ишь ты!..

На шум прибежала мать.

— Прокофич, Прокофич!.. Охолонь трошки!.. Погоди!..



Но старик разошелся не на шутку; поднес раз жене, опрокинул столик со швейной машиной и, навоевавшись, вылетел на баз. Не успел Григорий скинуть рубаху с разорванным в драке рукавом, как дверь крепко хляснула, и на пороге вновь тучей буревой укрепился Пантелей Прокофьевич.

— Женить сукинова сына!.. — он по-лошадиному стукнул ногой и уперся взглядом в голую мускулистую спину Григория.

— Женю!.. Завтра же поеду сватать! Дожил, што сыном в глаза смеются!

— Дай рубаху-то надеть, пося женишь.

— Женю!.. На дурочке женю!.. — хлопнул дверью.

По крыльцу протарахтели шаги и стихли.

## XI

За хутором Сетраковым в степи рядом вытянулись повозки с брезентовыми будками. Невиданно быстро вырос городок белокрыший и аккуратный, с прямыми улочками и небольшой площадкой в центре, по которой похаживал часовой.

Лагери зажили обычной для мая месяца ежегодно-однообразной жизнью. По утрам команда казаков, караулившая на попасе лошадей, пригоняла их к лагерям. Начинались чистка, седловка, переключка, построения. Зычно покрикивал заведующий лагерями штаб-офицер, шумоватый войсковой старшина Попов, суетился военный пристав, горланили, муштруя молодых казаков, обучавшие их урядники. За бутром сходились в атаках, хитро окружали и обходили «противника». Стреляли по мишени из дробовиц. Казаки помоложе охотно состязались в рубке, постарше — отвиливали от занятий.

Люди хрипли от жары и водки, а над длинными шеренгами крытых повозок тек пахучий волнующий ветер, издали свистели суслики, степь тянула подальше от жилья и дыма выбеленных куреней.

За неделю до выхода из лагерей к Ивану Томилину приехала жена. Привезла домашних сладных бурсаков, всякого угощенья и ворох хуторских новостей.

На другой день спозаранку уехала. Повезла от казаков домашним и близким поклоны, наказания, лишь Степан Астахов ничего не пересылал с ней. Накануне заболел он, лечился водкой и не видел не только жену Томилину, но и весь белый свет. На ученье не поехал, по его просьбе фельдшер кинул ему кровь, поставил на прудь дюжину пиваков. Степан в одной исподней рубахе сидел под колесом своей брички, фуражка с белым чехлом мазалась, вытирая колесную мазь, оттопырив губу, смотрел, как пивяки, всосавшись в выпуклые полушария его груди, набухали черной кровью, росли в объеме.

Возле стоял полковой фельдшер, курил, процеживая сквозь редкие зубы табачный дым.

— Легчает?

— От грудей тянет. Сердцу кубыть просторней...

— Пиявки — первое средство.

К ним подошел Томилин. Мигнул.

— Степан, словцо бы сказать хотел.

— Говори.

— Поди на час.

Степан, кряхнув, поднялся, отошел с Томилиным.

— Ну, выкладывай.

— Баба моя приезжала... Ноне уехала.

— А...

— Про твою жененку по хутору толкуют...

— Што?

— Гутарют недобро.

— Ну?

— С Гришкой Мелеховым спуталась. В открутую.

Степан, бледнея, рвал с груди пиявок, давил их ногою. Последнюю раздавил, застегнул воротник рубахи и, словно испугавшись чего-то, снова расстегнул... Белые, — как мел ел, — губы не находили покоя: подраливая, расползались в нелепую улыбку, ежились, собираясь в синеватый комок... Томилину казалось, что Степан жует что-то твердое, неподатливое на зубы. Постепенно к лицу вернулась краска, прихваченные изнутри зубами окаменели в недвижимости губы. Степан снял фуражку, рукавом размазал по белому чехлу пятно колесной мази, сказал звонко:

— Спасибо за вести.

— Хотел предупредить... Ты извиняй... Так, мол, и так дома...

Томилин сожалеюще хлопнул себя по штанине и ушел к нерасседланному коню. Лагери в гуле голосов. Приехали с рубки казаки. Степан с минуту стоял, разглядывая сосредоточенно и строго черное пятно на фуражке. На сапог ему карабкалась полураздавленная издыхающая пиявка.

## XII

Оставалось полторы недели до прихода казаков из лагерей.

Аксинья неистовствовала в поздней горькой своей любви. Несмотря на угрозы отца, Григорий, таясь, уходил к ней с ночи и возвращался зарей.

За две недели вымотался он, как лошадь, сделавшая непосильный пробег. От бессонных ночей коричневая кожа скуластого его лица отливала синевою, из ввалившихся глазниц устало глядели черные

сухие глаза. Аксинья ходила, не кутая лица платком, траурно чернели глубокие ямы под глазами, припухшие, слегка вывернутые, жадные губы ее беспокойно и вызывающе смеялись.

Так необычайна и явна была сумасшедшая их связь; так иступленно горели они одним бесстыдным полымем, людей не совестясь и не таясь, худея и чернея в лицах на глазах у соседей, что теперь на них при встречах почему-то стыдились люди смотреть.

Товарищи Григория, раньше трунившие над ним по поводу связи с Аксиньей, теперь молчали, сойдясь, и чувствовали себя в обществе Григория неловко, связано. Бабы, в душе завидуя, судили Аксинью, злорадствовали в ожидании прихода Степана, изнывали, с'едаемые звериным любопытством. На развязке плелись их предположения.

Если б Григорий ходил к жалмерке Аксинье, делал вид, что скрывается от людей, если б жалмерка Аксинья жила с Григорием, олядя это в относительной тайне и в то же время не отказывала бы и другим, то в этом не было бы ничего необычного, хлещущего по глазам. Хутор поговорил бы и перестал. Но они жили почти не таясь, вязало их что-то большое, непохожее на короткую связь, и поэтому в хуторе решили, что это преступно, безнравственно, и хутор прижух в поганенском выжиданьице: приедет Степан — узелок развяжет.

В горнице над кроватью протянута веревочка. На веревочку нанизаны белые и черные порошки, без ниток, катушки. Висят для красоты. На них ночлежничают мухи, от них же к потолку пряжа паутины. Григорий лежит на голой прохладной аксиньиной руке и смотрит в потолок на цепку катушек. Аксинья другой рукой — опрубелыми от работы пальцами — перебирает на запрокинутой голове Григория жесткие, как конский волос, завитки. Аксиньины пальцы пахнут парным коровьим молоком; когда поворачивает Григорий голову, носом втыкаясь Аксинье в подмышку, — хмелем невыбродившим бьет в ноздри острый, сладковатый бабий пот.

В горнице, кроме деревянной крашеной кровати с точеными шишками по углам, стоит возле дверей окованный уемистый сундук с аксиньиным приданым и нарядом. Под передним углом стол, клеенка с генералом Скобелевым, скачущим на склоненные перед ним махровые знамена, два стула, вверху образа в бумажных ярко-убогих ореолах. Сбоку на стене засиженные мухами фотографии: пруппа казаков, — чубатые головы, выпяченные пруди с часовыми цепками, огленные клинки палашей, — Степан с товарищами, еще с действительной службы. На вешалке висит неприбранный степанов мундир. Месяц глазаест в оконную прорезь, недоверчиво щупает две белых урядничких лычки на погоне мундира.

Аксинья со вздохом целует Григория повыше переносицы, на развилке бровей.

— Гриша, колосочек мой...

— Чево тебе?

— Осталось девять ден...

— Ишо не скоро.

— Што я, Гриша, буду делать?

— Я почем знаю!

Аксинья удерживает вздох и снова гладит и разбирает опутанный гришкин чуб.

— Убьет меня Степан, — не то спрашивает, не то утвердительно говорит она.

Григорий молчит. Ему хочется спать. Он с трудом раздирает липнувшие веки, прямо над ним мерцающая синевою чернь аксиньиных глаз.

— Придет муж, небось, бросишь меня? Побойшься.

— Мне што ево бояться, ты — жена, ты и боись.

— Зараз с тобой я не боюсь, а посередь дня раздумаюсь и оторопь возьмет...

Григорий зеваает, перекатывая голову, говорит:

— Степан придет — это не штука. Батя, вон, меня женить собирается.

Григорий улыбается, хочет еще что-то сказать, но чувствует, — рука Аксиньи под его головой как-то вдруг дрябло мякнет, вдавливается в подушку и, дрогнув, через секунду снова твердеет, принимает первоначальное положение.

— Каво усватали? — приглушенно спрашивает Аксинья.

— Только собирается ехать. Мать гутарила, кубыть к Коршуновым, за ихнюю Наталью.

— Наталья... Наталья девка красивая... Дюже красивая... Што ж, женись... Надьсь видела ее в церкви... Нарядная была...

Аксинья говорит быстро, но слова расплзаются, не доходят до слуха неживые и бесцветные слова.

— Мне ее красоту за голенище не класть. Я бы на тебе женился.

Аксинья резко выдергивает из-под головы Григория руку, сухими глазами смотрит в окно. По двору желтая ночная стынь. От сарая тяжелая тень. Свиристыят кузнечики. У Дона гудят водяные быки, угрюмые басовитые звуки ползут через одинарное оконце в горницу.

— Гриша!

— Надумала што?

Аксинья хватает неподатливые, черствые на ласку гришкины

руки, жмет их к груди, к холодным помертвевшим щекам, кричит стонущим голосом:

— На што ты, проклятый, привязался ко мне? Што я буду делать?.. Гри-и-и-шка!.. Душу ты мою вынаешь!.. Сгубилась я... Придет Степан — какой ответ держать стану?.. Кто за меня вступится?..

Григорий молчит. Аксинья скорбно глядит на его красивый хрящеватый нос, на покрытые тенью глаза, на немые губы... И вдруг рвет плотину сдержанности поток чувства: Аксинья бешено целует лицо его, шею, руки, жесткую, курчавую черную поросль на груди. В промежутки, задыхаясь, шепчет, и дрожь ее ощущает Григорий.

— Гриша, дружечка моя... родимый... давай уйдем. Милый мой! Кинем все, уйдем. И мужа и все кину, лишь бы ты был... На шахты уйдем, далеко. Кохать тебя буду, жалеть... На Парамоновских рудниках у меня дядя родной в стражниках служит, он нам пособит... Гриша! Хучь словцо урони.

Григорий углом переламывает левую бровь, думает и неожиданно открывает горячие свои, нерусские глаза. Они смеются. Спят насмешкой.

— Дура ты, Аксинья, дура! Гутаришь, а послушать нечево. Ну, куда я пойду от хозяйства? Опять же на службу мне на энтот год. Не годится дело... От земли я никуда не тронусь. Тут степь, дыхнуть есть чем, а там? Прошлую зиму ездил я с батей на станцию, так было-к пропал. Паровозы ревут, дух там чижолый от горелова угля. Как народ живет — не знаю, может, они привыкли к этому самому угару... — Григорий сплевывает и еще раз говорит: — Никуда я с хутора не пойду.

За окном темнеет, на месяц напоролось облачко. Меркнет желтая разлитая по двору стынь, стираются выутюженные тени, и уже не разобрать что темнеет за плетнем: прошлогодний порубленный хвост ли, или прислонившийся к плетню старюка-бурьян.

В горнице тоже густеет темень, блекнут степановы урядницкие лычки на висящем у окна казачьем мундире, и в серой застойной непрогляди Григорий не видит, как у Аксиньи мелкой дрожью трясутся плечи и на подушке молча подпрыгивает стиснутая ладонями голова.

### XIII

С того дня как приехала баба Томилина, подурнел Степан с лица. Висли на глаза брови, ложбинка глубокая и черствая косо прорезала лоб. Он мало говорил с товарищами, из-за пустяков вспыхивал и начинал ссору, ни с того, ни с сего поругался с вахмистром Плешаковым, на Петра Мелехова почти не глядел. Лопнула вожжина дружбы, раньше соединявшая их. В тяжелой накипавшей злобе своей шел Степан под гору, как лошадь, понесшая седека. Домой возвращались они врагами.

Надо же было случиться такому случаю, ускорившему развязку неопределенных и враждебных отношений, установившихся между ними за последнее время. Из лагерей поехали попрежнему пятеро. В бричку запрягли петрова коня и степанова. Христоня на своем ехал верхом, Томилина прясла лихорадка, лежал он в будке под шинелью, Федот Бодовсков ленился править, поэтому кучеровал Петро. Степан шел возле брички, плетью сбивал пунцовые головки придорожного татарника. Падая дождь. Густой чернозем смолою крутился на колесах. Небо по осеннему сизело, запеленатое в тучи. Спустилась ночь. Отней хутора — сколько ни приглядывались — не было видно. Петро щедро сыпал лошадам кнута. И вот тут-то в темноте крикнул Степан:

— Ты, што же, мать твою... Свою коня прижеливаешь, а с мово кнут не сходит?

— Гляди дюжей. Чей не тянет, тово и погоняю.

— Как бы я тебя не подпрег. Турки — они тягуци...

Петро бросил вожжи.

— Тебе чево надо?

— Сиди уж, не вставай.

— То-то, помолчал бы.

— Ты чево к нему прискипался? — загудел Христоня, под'езжая к Степану.

Тот промолчал. В темноте не видно было его лица. С полчаса ехали молча. Шелестела под колесами грязь. Дремотно вызванивал по брезентовой крыше будки сеянный на сито дождь. Петро, бросив вожжи, курил. Перебирал в уме все те обидные слова, которые он при ноей стычке скажет Степану. Его подмывало зло. Хотелось хлестко выругать этого подлеца Степана, осмеять.

— Посторонись. Дай в будку пролезть. — Степан легонько толкнул Петро и вскочил на подножку.

Тут-то неожиданно дернулась бричка и стала. Оскользясь по грязи, затоптали лошади, из-под подков брызнули искры. Громыхнул натянутый барок.

— Тррр... — крикнул Петро, прыгая с брички.

— Што там такое? — всполошился Степан.

Подскакал Христоня.

— Обломались, черти?..

— Засвети огонь.

— Серники у ково?

— Степан, кинь серники!

Впереди, всхрапывая, билась лошадь. Кто-то чиркнул спичкой. Оранжевое колечко света — и опять тень. Дрожащими руками Петро щупал спину упавшей лошади. Дернул под уздцы.

— Но!..

Лошадь, вздохнув, повалилась на бок, хряпнуло дышло. Подбежавший Степан зажег щепоть спичек. Конь его лежал, скидывая голову. Передняя нога по колено торчала в заваленной сурчине.

Христоня, суетясь, отцепил постромки.

— Ногу ему выручай!

— Отпрягай петрова коня, ну, живо!

— Стой, про-кля-тый! Тррр!

— Он брыкается, дьявол. Торопись!

С трудом подняли степанова коня на ноги. Измазанный Петро держал его под узцы, Христоня ползал в грязи на коленях, ощупывая безжизненно поднятую ногу.

— Должно, переломил... — пробасил он.

Федор Бодовсков шлепнул по дрожащей лошадиной спине ладонью.

— А ну проводи, может, пойдет?

Петро потянул на себя поводья. Конь прыгнул, не ступая на левую переднюю, и заржал. Томилин, надевая шинель в рукава, горестно топтался около.

— Врюхались, мать вашу!.. Сгубили коня, эх!

Молчавший все время Степан словно этого и ждал: отпихнув Христоню, кинулся на Петра. Целил в голову, но промахнулся — в плечо попал. Сцепились. Упали в грязь. Треснула на ком-то рубаха. Степан подмял Петра и, придавив коленом голову, пвездил кулачьями. Христоня растянул их, матерясь.

— За што?.. — выхаркивая кровь, кричал Петро.

— Правь, гадюка! Бездорожно не ездил!..

Петро рвался из христоновых рук.

— Но-но-но! Балуй у меня! — гудел тот, одной рукой прижимая его к бричке.

В пару к петрову коню припрягли низкорослого, но тягущего конишку Федота Бодовскова.

— Садись на мово! — приказал Степану Христоня.

Сам полез в будку к Петру.

Уже в полночь приехали на хутор Гниловской. Стали у крайнего куренька. Христоня пошел проситься на ночевку. Не обращая внимания на кобеля, хватавшего его за полы шинели, он проплюхал к окну, открыл ставню, поскреб ногтем о стекло.

— Хозяин!

Шорох дождя и залиvistый собачий брех.

— Хозяин! Эй, добрые люди! Пустите ради Христа заночевать.

А? Служивые, из лагерей. Сколько? Пятеро нас. Ага, ну, спаси Христос.

— Заезжай! — крикнул он, поворачиваясь к воротам.

Федот ввел во двор лошадей. Споткнулся через свиное корыто, брошенное посередине двора, и выругался. Лошадей поставили под навес сарая. Томилин, вызывая зубами, пополз в хату. В будке остались Петро и Христоня.

На заре собрались ехать. Вышел из хаты Степан, за ним семенила древняя горбатая старушонка. Христоня, запрягавший коней, пожалел ее.

— Эх, бабуня, как тебя согнуло-то! Небось, в церкви поклоны класть способно, чудок нагнулась — и вот он пол.

— Соколик мой, атаманец, мне поклоны класть, на тебя собак вешать способно... Всякому свое... — старуха сурово улыбнулась, удивив Христоню густым рядом нес'еденных мелких зубов.

— Ишь ты, какая зубастая, чисто щука. Хучь бы мне на бедность подарила с десяток. Молодой вот, а жевать нечем.

— А я с чем останусь, хороший мой?

— Тебе, бабка, лошадиные вставим. Все одно помирать, а на том свете на зубы не глядят, угодники они ить не из цыганев.

— Мели, Емеля, — улыбнулся, влезая на бречку, Томилин.

Старуха прошла с Степаном под сарай.

— Какой из них?

— Вороной, — вздохнул Степан.

Старуха положила на землю свой костыль и мужским, уверенно-сильным движением подняла коню испорченную ногу. Скрюченными тонкими пальцами долго шупала коленную чашечку. Конь прижимал уши, очеряя коричневый навес зубов, приседал от боли на задние ноги.

— Нет полому, казачок, нету. Оставь, полечу.

— Толк-то будет, бабуня?

— Толк? А кто ж его знает, славный мой... Должно, будет толк.

Степан махнул рукой и пошел к бречке.

— Оставишь, ай нет? — шурилась вслед старуха.

— Пушай остается.

— Она его вылечит, — оставил об трех ногах, возьмешь кругом без ног. Ветинара с горбом нашел, — хохотал Христоня.

#### XIV

— ... Тоскую по нем, родная бабунюшка. На своих глазыньках сохну. Не успеваю юбку ушивать, — што ни день, то шире становится... Пройдет мимо база, а у меня сердце закипает... упала б наземь,



след б ево целовала... Может, присушил чем?.. Пособи, бабунюшка! Женить ево собираются... Пособи, родная! Што стоить — отдам. Хучь последнюю рубаху сыму, только пособи!

Светлыми в кружеве морщин глазами глядит бабка Дроздиха на Аксинью, качает головой под горькие слова рассказа.

— Чей же паренек-то?

— Пантелея Мелехова.

— Турка, што ли?

— Ево.

Бабка жует ввалившимся ртом, медлит с ответом.

— Придешь, бабонька, пораньше завтра. Чуть займетса зорька, придешь. К Дону пойдём, к воде. Тоску отольём. Солицы прихвати щепоть из дому. Так-то.

Аксинья кутает желтым полушалком лицо и, сгорбившись, выходит за ворота.

Темная фигура ее рассасывается в ночи. Сухо черкают подошвы чириков. Смолкают и шаги. Где-то, на краю хутора, дерутся и ревут песни.

С рассветом Аксинья, не спавшая всю ночь, у дроздихинского окна.

— Бабушка!

— Кто там?

— Я, бабушка. Вставай.

— Зараз оденусь.

По проулку спускаются к Дону. У пристани, возле мостков, мокнет в воде брошенный передок арбы. Песок у воды ледянисто колок. От Дона течет сырая, студеная мгла.

Дроздиха берет костистой рукой аксиньину руку, тянет ее к воде.

— Соль взяла? Дай сюды. Кстись на восход.

Аксинья крестится. Злобно глядит на счастливую розовость востока.

— Зачерпни воды в пригоршню. Испей, — командует Дроздиха.

Аксинья, измочив рукава кофты, напилась. Бабка черным пауком раскорячилась над ленивой волной, присела на корточки, зашептала:

— Студены ключи со дна текучие... Плоть горячая... Зверем в сердце... Тоска-лихоманица... И крестом святым... пречистая, пресвятая... Раба божия Григория... — доносилось до слуха Аксиньи.

Дроздиха посыпала солью влажную песчаную россыпь под ногами, сыпнула в воду, остатки — Аксинье за пазуху.

— Плесни через плечо водицей. Скорей!

Аксинья пределала. С тоской и злобой оглядела коричневые щеки Дроздихи.

— Все, што ли?

— Поди, милая, позорюй. Все.

Запахавшись, прибежала Аксинья домой. На базу мычали коровы. Мелехова Дарья, заспанная и румяная, поводя красивыми дугами бровей, гнала в табун своих коров. Она, улыбаясь, оглядела безжавшую мимо Аксинью.

— Здорово ночевала, соседка.

— Слава богу.

— Идей-то опозаранку моталась?

— Тут в одно место, по делу.

Зазвонили к утрене. Рассыпчато и ломко падали медноголосые всплески. На проулке шелкал арапником подпасок.

Аксинья, спеша, выгнала коров и понесла в сенцы цедить молоко. Вытерла о завеску руки, с засученными по локоть рукавами, думая о чем-то своем, плескала в запенившуюся цедилку молоко.

По улице резко зацокали колеса. Заржали кони. Аксинья поставила цыбарку, пошла глянуть в окно.

К калитке, придерживая шапку, шел Степан. Обгоняя друг друга, скакали к площади казаки. Аксинья скомала в пальцах завеску и села на лавку. По крыльцу шаги... Шаги в сенцах... Шаги у самой двери...

Степан стал на пороге исхудавший и чужой.

— Ну...

Аксинья, вихляясь всем своим крупным, полным телом, пошла навстречу.

— Бей! — протяжно сказала она и стала боком.

— Ну, Аксинья...

— Не таюсь, — грех на мне. Бей, Степан!

Она, вобрав голову в плечи, сжавшись в комок, защищая руками только живот, стояла к нему лицом. С тупого обезображенного страхом лица глядели глаза в черных крутах, не мигая. Степан качнулся и прошел мимо. Пахнуло запахом мужского пота и польвниной дорожной горечью от нестиранной рубахи. Он, не скинув фаражку, лег на кровать. Полежал, повел плечом, скидая португую. Всегда лихо закрученные русые усы его квели свисали вниз. Аксинья, не поворачивая головы, с боку глядела на него. Редко вздрагивала. Степан положил ноги на спинку кровати. С сапог вязко тянулась закрутившая грязь. Он смотрел в потолок, перебирая пальцами ременный темляк шапки.

— Ишо не стряпалась?

— Нет...

— Собери-ка што-нибудь пожрать.

Хлебал из чашки молоко, обсасывая усы. Хлеб жевал подолгу, на щеках катались обтянутые розовой кожей желваки. Аксинья стояла

у печи. С жарким ужасом глядела на маленькие хрящеватые уши мужа, ползавшие при еде вверх и вниз.

Степан вылез из-за стола, перекрестился.

— Расскажи, милаха, — коротко попросил он.

Нагнув голову, Аксинья собрала со стола. Молчала.

— Расскажи, как мужа ждала, мужнину честь берегла? Ну?

Страшный удар в голову вырвал из-под ног Аксиньи землю, кинул к порогу. Она стукнулась о дверную притолку спиной, глухо ахнула.

Не только бабу квелую и пустомясую, а и ядерных каршеватых атаманцев умел Степан валять с ног ловким ударом в голову. Страх ли поднял Аксинью, или снесла бабья живучая натура, но она отлежалась, отдышалась и стала на четвереньки.

Закуривал Степан посреди хаты и прозевал, как поднялась она в дыбки. Кинул на стол кисет, а Аксинья уж дверью хлопнула. Погнал.

Аксинья, залитая кровью, ветром неслась к плетню, отделявшему ихний двор от мелеховского. У плетня Степан настиг ее. Черная рука его ястребом упала ей на голову. Промеж сжатых пальцев настряли волосы. Рванул и повалил на землю, в золу; в ту золу, которую Аксинья, истопив печь, изо дня в день сыпала у плетня.

Что из того, что муж, заложив руки за спину, охаживает собственную жену сапогами, — шел мимо безрукий Алешка Шамиль, поглядел, поморгал и раздвинул кустастую бороденку улыбкой: очень даже понятно, за что жалует Степан свою законную.

Остановился бы Шамиль поглядеть (на кого не доведись, все ж-таки любопытно ведь), до смерти убьет, или нет, но совесть не позволяет. Не баба, как никак.

Издали на Степана глядеть, — казачка человек вытанцовывает. Так и подумал Гришка, увидев из окна горницы, как подпрыгивает Степан. А доглядел — и выскочил из куреня. К плетню бежал на цыпочках, плотно прижав к груди занемевшие кулаки, за ним следом тяжело тупал сапогами Петро.

Через высокий плетень Григорий махнул птицей. С разбегу сзади хлобьнул занятого Степана. Тот качнулся и, обернувшись, пошел на Гришку медведем.

Братья Мелеховы дрались отчаянно. Клевали Степана, как стервятники падаль. Несколько раз Гришка катился наземь, сбитый степановой кулачной свинчаткой. Жидковат был против заматеревшего Степана, но низенький व्यон Петро гнулся под ударами, как камыш под ветром, а на ногах стоял твердо.

Степан, сверкая одним глазом (другой затек опухолью цвета недоспелой сливы), отступал к крыльцу:

Разнял их Христоня, приходивший к Петро за уздечкой.

— Разойдись! — махал он клешнятыми руками, — разойдись, а то к атаману!

Петро бережно выплюнул на ладонь кровь и половину зуба, сказал хрипло:

— Пойдем, Гришка. Мы ево в однорядь подсидим...

— Нешто не попадешься ты мне! — грозил с крыльца подсиненный во многих местах Степан.

→ Ладно, ладно...

— И без ладнова душу с потрохами выну!

— Ты в сурьез или шутейно?

Степан быстро сошел с крыльца. Гришка рванулся к нему навстречу, но Христоня, толкая его в калитку, пообещал:

— Только свяжись — измотаю, как цуцика!

С этого дня в калмыцкий узелок завязалась между Мелеховыми и Степаном Астаховым злоба.

Суждено было Григорию Мелехову развязывать этот узелок два года спустя в Восточной Пруссии, под городом Стольпиным.

## XV

— Петру скажи, штоб запрягал кобылу и свово коня.

Григорий вышел на баз. Петро выкатывал из-под сарая бричку.

— Батя велит запрягать кобылу и твоово.

— Без него знаем. Пушай заткнется! — направляя дышлом, отозвался Петро.

Пантелей Прокофьевич, торжественный, как титор у обедни, до-лебывал щи, мочился горячим потом.

Дуняшка шустро пробежала по Григорию глазам, где-то в тенистом холодке выгнутых век припрятала девичий свой смешок — улыбку. Ильинишна, кургузая и важная в палевой праздничной шали, тая в углах губ материнскую тревогу, оглядела Григория, и к старику:

— Будя тебе, Прокофич, напихиваться. Чисто оголодал ты!

— Поисть не даст. То-то латоха!

В дверь просунул длинные пшенично-желтые усы Петро.

— Пжалте, фаитон подан.

Дуняшка прыснула смехом и закрылась рукавом.

Прошла через кухню Дарья, поиграла тонкими ободьями бровей, оглядывая жениха.

Свахой ехала двоюродная сестра Ильинишны, жох-баба, вдовая тетка Василиса. Она первая угнездилась в бричке, вертя круглой, как

речной голыш, головой, посмеиваясь, из-под оборки губ показывая кривые черные зубы.

— Ты, Васенка, там-то, не скалься, — предупредил ее Пантелей Прокофьевич — можешь все дело испакостить через свою пасть... Зубы-то у тебя пьяные посажены в рот; один туда кривится, другой совсем наоборот даже...

— Эх, куманек, не за меня сватают-то. Не я женихом.

— Так-то так, а все ж-таки не смей. Дюже уж зубы-то не тово... Чернота одна, поганю глядеть даже.

Василиса обижалась, а тем часом Петро расхлебенил ворота. Григорий разобрал пахучие ременные вожжи, вскочил на козлы. Пантелей Прокофьевич с Ильинишной — в заду брички рядком, не дать не взять — молодые.

— Кнута им ввали! — крикнул Петро, выпуская из рук поводья.

— Играй, чорт! — Гришка куснул губу и кнутом коня, перебивавшего ушами.

Лошади натянули постромки и резко взяли с места.

— Гляди! Зацепишься!.. — визгнула Дарья, но бричка круто вильнула и, подпрыгивая по придорожным кочкам, затараторила вдоль по улице.

Свешиваясь на бок, Григорий горячил кнутом игравшего в упряжке петрова строевика. Пантелей Прокофьевич ладонью держал бороду, опасаясь, что подхватит и унесет ее ветер.

— Кобылу рубани! — ворочая по сторонам глазами сипел он, наклоняясь к григорьевой спине.

Ильинишна кружевным рукавом кофты вытирала выжатую ветром слезинку, мигая глядела, как на спине Григория трепещет, надуваясь от ветра, горбом сатиновая синяя рубаха. Встречные казаки сторонились, подолгу глядели вслед. Собаки, выскакивая из дворов, катились под ноги лошадям. Лая не было слышно за гулом заново ошиненных колес.

Григорий не жалел ни кнута, ни лошадей, и через десять минут хутор лег сади, над дорогой зелено закружились сады последних дворов. Коршуновский просторный курень. Досчатый забор. Григорий дернул вожжи, и бричка, оборвав железный рассказ на полуслове, стала у крашенных, в мелкой резьбе ворот.

Григорий остался у лошадей, а Пантелей Прокофьевич прохромал к крыльцу. За ним в шелесте юбок поплыли красномаковая Ильинишна и Василиса, неумолимо твердо спаявшая губы. Старик спешил, боясь утратить припасенную дорогой смелость. Он споткнулся о высокий по-

рожек, зашиб хромую ногу и, морщась от боли, буйно затупотал по вымытым порожкам.

Вошел он в курень почти вместе с Ильинишной. Ему невыгодно было стоять рядом с женой, была она выше его на добрую четверть, поэтому он ступил от порога шаг вперед, поджал по-кочетиному ногу и, скинув фуражку, перекрестился на черную, мутного письма икону.

— Здорово живете!

— Слава богу! — ответил, привстав с лавки, хозяин — невысокий, конопатый престарелый казак.

— Принимай гостей, Мирон Григорьевич.

— Гостям завсегда рады. Марья, дай людям на што, присесть.

Пожилая плоскогрудая хозяйка смахнула с табуретов пыль, которой не было, подвинула их гостям. Пантелей Прокофьевич сел на краюшек, вытирая утиркой взмокший потом смуглый лоб.

— А мы это к вам по делу, — начал он без обиняков.

В этом месте речи Ильинишна и Василиса, подвернув юбки, тоже присели.

— Жалься, по какому-такому делу, — улыбнулся хозяин.

Вошел Григорий. Зиркнул по сторонам.

— Здорово ночевали!

— Славу богу! — протяжно ответила хозяйка.

— Слава богу! — подтвердил и хозяин, и сквозь веснушки, устрикавшие его лицо, проступила коричневая краска: тут только догадался он, зачем приехали гости.

— Скажи, чтоб коней ихних ввели на баз. Нехай им сена кинут, — обратился он к жене.

Та вышла.

— Дельце к вам по малости имеем... — продолжал Пантелей Прокофьевич.

Он ворошил кудрявую смолу бороды, подергивая в волнении серьгу.

— У вас — девка, невеста, у нас — жених... Не снюхаемся ли каким случаем? Узнать бы гребтилось — будете ли вы ее выдавать зараз, нет ли? А то, может, и породнились бы.

— Кто ж ее знает... — почесал хозяин лысеющую голову, — не думали, признаться, в нынешний мясоед выдавать. Тут делов пропастишша, а тут таки и годков ей не дуже, чтоб много. Осьмнадцатая весна только перешла. Так, ить Марья?

— Так будет.

— Теперича самое светок лазоревый. Што ж держать, аль мало перестарков в девках кулюкают? — выступила Василиса, ерзая по табурету

(ее колот украденный в сенцах и сунутый под кофту веник, по приметам сваты, укравшие невесты веник, не получают отказа).

— За нашу наезжали сваты ишо на провесне. Наша не засидится. Девка — нечево бога милостивца гневовать, — всем взяла: што на полях, што дома...

— Попадется добрый человек и выдать можно, — протиснулся Пантелей Прокофьевич в бабий трескучий разговор.

— Выдать не вопрос, — чесался хозяин, — выдать в любое время можно.

Пантелей Прокофьевич подумал, что им отказывают, — загорчился.

— Оно само собой, дело хозяйское... Жених, он навроде старца: иде хошь просит. А уж раз вы, к примеру, ищите, может, купецкова звания жениха, аль ишо што, то уж совсем наоборот, звиняйте.

Дело и сорвалось бы: Пантелей Прокофьевич пыхтел и наливался бураковым соком, невестина мать кудахтала, как насадка на тень копшуна, но в нужную минуту ввязалась Василиса. Посыпала мелкой тишайшей скороговоркой, будто солью на обожженное место, и связала разрыв.

— Што уж там, родимые мои, раз дело такое зашло, значица надо порешить ево порядком и дитю своему на счастье... Хучь бы и Наталья, да таких-то девок по-белу свету поискать! Работа варом в руках: што — рукодельница, што — хозяйка! И собою, уж вы, люди добрые, сами видите, — разводила она с приятной округленностью руками, обращаясь к Пантелею Прокофьевичу и надутой Ильинишне. — Он и женишок хучь куда. Гляню, ажник сердце в тоску вдарится, до чего ж на мово покойника Донюшку схож... И семейство ихнее шибко работающее. Прокофьич-то — кинь по округе — всему свету звестный человек и благодетель... По доброму слову, аль мы детям своим супротивники и лиходеи?

Так Пантелею Прокофьевичу в уши латокой свашеньки журливый голосок. Слушал он, выдергивая из ноздрины большим и указательным пальцами пучки черных, задичавших в вечных потемках волос, и думал, восхищаясь: «Эк, чешет дьявол, языкастая! Скажи, как чулок вяжет. Петлюет — успевай разуметь, што и к чему. Иная баба забьет и казака разными словами... Ишь ты, моль в юбке!» — любовался он свахой, пластавшейся в похвалах невесте и невестинной родне, начиная с пятого колена.

— Чево и гутарить, зла мы дитю своему не желаем.

— Про то речь, што выдавать кубыть и рано, — миротворил хозяин, лоснясь улыбкой и веснушками.

— Не рано! Истинный бог не рано! — уговаривал его Пантелей Прокофьевич.

— Придется, рано ль, поздно ль, расставаться... — всхлинула хозяйка полуприторно, полуискренне.

— Кличь дочерю, Мирон Григорьевич, поглядим.

— Наталья!

В дверях несмело стала невеста, смуглыми пальцами суетливо перебирая оборку фартука.

— Пройди, пройди! Ишь засовестилась, — подбодрила мать и улыбнулась сквозь слезную муть.

Григорий, сидевший возле тяжелого, в голубых слинявых цветах сундука, глянул на нее.

Под черной стоячей пылью жоклошевого шарфа смелые серые глаза. На упругой щеке дрожала от смущения и сдержанной улыбки неглубокая розовеющая ямка. Григорий перевел взгляд на руки: большие, раздавленные работой. Под зеленой кофточкой, охватившей плотный сбитень тела, наивно и жалко высывались, поднимаясь вверх и врозь, небольшие девичье-каменные груди, пуговками торчали остренькие соски.

Григорьевы глаза в минуту обежали всю ее с головы до высоких красивых ног. Осмотрел, как барышник оглядывает матку-кобылицу перед покупкой, подумал: «хороша», и встретился с ее глазами, направленными на него в упор. Бесхитростный, чуть смущенный, правдивый взгляд словно говорил: «вот я вся, какая есть. Как хочешь, так и суди меня». — «Славная», — ответил Григорий глазами и улыбкой.

— Ну, ступай, — махнул хозяин рукой.

Наталья, прикрывая за собой дверь, глянула на Григория, не скрывая улыбки и любопытства.

— Вот што, Пантелей Прокофьевич, — начал хозяин, переглянувшись с женой, — посоветуйте вы, и мы посоветуем промеж себя, семейно. А потом уж и порешим дело, будем мы сватами, аль не будем.

Сходя с крыльца, Пантелей Прокофьевич сулил:

— К пребудущему воскресенью набегем.

Хозяин, провожавший их до ворот, умышленно промолчал, как будто ничего и не слышал.

## XVI

Только после того как узнал от Томила про Аксиныю, понял Степан, вынашивая в душе тоску и ненависть, что, несмотря на плохую жизнь с ней, на ту давнишнюю обиду, любил он ее тяжелой ненавидящей любовью.



По ночам лежал в повозке, укрывшись шинелью, заломив над головою руки, думал о том, как вернется домой, как встретит его жена, и чувствовал, словно вместо сердца копошится в груди мохнатый гарантул... Обтянув глаза посинелыми веками, лежал, готовя в уме тысячи подробностей расправы, и было такое ощущение, будто на зубах зернистый и крупный песок. Расплескал злобу в драке с Петром. Домой приехал вялый, поэтому-то легко отделалась Аксинья.

С того дня прижился в астаховом курене невидимый покойник. Аксинья ходила на цыпочках, говорила шопотом, но в глазах присыпанный пеплом страха чуть приметно тлел уголек, оставшийся от заженного Гришкой пожара.

Вглядываясь в нее, Степан скорее чувствовал это, чем видел. Мучился. По ночам, когда в кухне над комелем засыпало мушиное стадо, и Аксинья, дрожа губами, стелила постель, бил ее Степан, зажимая рот черной шершавой ладонью. Выспрашивал бесстыдные подробности о связи с Гришкой. Аксинья металась по твердой, с запахом овчины кровати, трудно дышала. Степан, приморившись истязать мягкое, как закрутившее тесто, тело, шарил по лицу ее рукою, слез искал. Но щеки Аксиньи были пламенно сухи, двигались под пальцами Степана, сжимая и разжимая челюсти.

— Скажешь?

— Нет!

— Убью!

— Убей! Убей, ради Христа... Отмучаюсь... Не житье...

Стиснув зубы, Степан закручивал на жениной груди прохладную от пота тонкую кожу,

Аксинья вздрагивала, стонала.

— Больно, што ль? — веселел Степан.

— Больно.

— А мне, думаешь, не больно было?

Засыпал он поздно. Во сне сжимал и двигал черными, пухлыми в суставах пальцами. Аксинья, приподнявшись на локте, подолгу глядела на красивое, измененное сном лицо мужа. Роняя на подушку голову, что-то шептала.

Гришку она почти не видела. Раз как-то у Дона повстречалась с ним. Григорий пригонял поить быков, поднимался по спуску, помахивая красненькой хворостинкой, глядя под ноги. Аксинья шла ему навстречу. Увидела и почувствовала, как похолодело под руками коромысло и жаром осыпала кровь виски.

После, вспоминая эту встречу, ей стоило немалых усилий, чтобы уверить себя, что это было наяву. Григорий увидел ее, когда она почти

поравнялась с ним. На требовательный скрип ведер приподнял голову, дрогнул бровями и глупо улыбнулся. Аксинья шла, глядя через его голову на зеленый, дышащий волнами Дон, еще дальше на гребень песчаной косы. Краска выжала из глаз ее слезы.

— Ксюша!

Аксинья прошла несколько шагов и стала, нагнув голову, как под ударом. Григорий, злобно хлестнув хворостиной отставшего мурутого быка, сказал, не поворачивая головы:

— Степан когда выедет жито косить?

— Зараз... запрягает.

— Проводишь, — иди в наши подсолнухи, в займище, и я приду.

Поскрипывая ведрами, Аксинья сошла к Дону. У берега, желтым пыльным кружевом на зеленом подоле волны, змеилась пена. Белые чайки-рыболовы с криком носились над Доном.

Серебряным дождем сыпала над поверхностью воды мелочь-рыбешка. С той стороны, за белью песчаной косы, величаво и строго высились седые под ветром головы старых тополей. Аксинья, черпая воду, уронила ведро. Поднимая левой рукой юбку, забрела по колено. Вода защекотала натертые подвязками икры, и Аксинья в первый раз после приезда Степана засмеялась тихо и неуверенно.

Оглянулась на Гришку: так же помахивая хворостинкой, будто отгоняя оводов, медленно взбирался он по спуску.

Аксинья ласкала мутным от прихлынувших слез взором его сильные ноги, уверенно попиравшие землю. Широкие гришкины шаровары, выбранные в белые шерстяные чулки, алели лампасами. На спине его, возле лопатки, трепыхался клочок свежее порванной грязной рубахи, желтел смуглый треугольник оголенного тела. Аксинья целовала глазами этот крохотный, когда-то ей принадлежавший кусочек любимого тела; слезы падали на улыбавшиеся побледневшие губы.

Она поставила на песок ведра и, цепляя дужку зубцом коромысла, увидела на песке след, оставленный остроносым гришкиным чириком. Воровато огляделась — никого, лишь на дальней пристани купаются ребятишки. Присела на корточки и прикрыла ладонью след, потом вскинула на плечи коромысла и, улыбаясь над собой, заспешила домой.

Над хутором задернутое кисейной полумглой шло солнце. Где-то под курчавым табуном белых облачков сияла глубокая, прохладная, пастбищная синь, а над хутором, над раскаленными железными крышами, над безлюдьем пыльных улиц, над дворами с желтым выжженным сухменем травы висел мертвый зной.

Аксинья, плеская из ведер воду на растрескавшуюся землю, покачиваясь, подошла к крыльцу. Степан в широкополой соломенной

шляпе запрягал в косилку лошадей. Поправляя шлею на дремавшей в хомуте кобыле, глянул на Аксинью.

— Налей воды в баклагу.

Аксинья вылила в баклагу ведро, обожгла руки о железные склепанные обручи.

— Лёду бы надо. Степлится вода,— сказала, глядя на мокрую от пота спину мужа.

— Поди возьми у Мелеховых. Не ходи!.. — крикнул Степан, вспомнив.

Аксинья пошла затворять брошенную настежь калитку. Степан, опустив зрачки, ухватил кнут.

— Куда?..

— Калитку прикрыть.

— Вернись, падлюга... сказано — не ходи!

Она торопливо подошла к крыльцу, хотела подвесить коромысло, но дрогнувшие руки отказались служить, — коромысло покатилося по порожкам.

Степан кинул на переднее сиденье брезентовый плащ, усаживаясь, расправил вожжи.

— Ворота отвори.

Распахнув ворота, Аксинья осмелилась спросить:

— Когда приедешь?

— К вечеру. Сложился косить с Аникушкой, Харчи ему отнеси. Из кузни придет, — поедет на поля.

Мелкие колеса косилки, повизгивая, врезаясь в серый плюш пыли, выбрались за ворота. Аксинья вошла в дом, постояла, прижимая ладони к сердцу, и, накинув платок, побежала к Дону.

«А ну как вернется? Что тогда?» — опалила мысль. Стала, словно под ногами увидела глубокий яр, поглядела назад и чуть не рысью по над Доном, к займищу.

Плетни. Огороды. Желтая марь засматривающих солнцу в глаза подсолнухов. Зеленый в бледной цветени картофель. Вот шамиловские бабы, припоздав, допалывают картофельную делянку: согнутые в розовых рубахах спины, короткие взметы мотыг падают на серую пахоть, Аксинья, не переводя духа, дошла до мелеховского огорода. Оглянулась и, скинув воростинный кляч с устоя, открыла дверцы. По утоптанной стежке дошла до зеленого частокола подсолнечных будыльев. Пригинаясь, забралась в самую гущину, измазала лицо золотистой цветковой пылью и, подбирая юбку, присела на расшитую повителью землю.

Прислушалась: тишина до звона в ушах. Где-то вверху одиноко гудит шмель. Поле, в щетинистом пушке будылья подсолнечников молча сосут землю.

С полчаса сидела, мучаясь сомнением, — придет или нет, — хотела уж итти, привстала, поправляя под платком волосы, в это время тягуче заскрипели дверцы. Шаги...

— Аксютка!

— Сюда иди...

Ага, пришла...

Шелестя листьями, подошел Григорий и сел рядом. Помолчали.

— В чем это у тебя щека?

Аксинья рукавом размазала желтую пахучую пыль.

— Должно, с подсолнуха.

— Ишо вот тут, возле глаза...

— Вытерла.

Встретилась глазами. И, отвечая на гришкин немой вопрос, заплакала.

— Мочи нету... Пропала я, Гриша...

— Чево ж он?

Аксинья злобно рванула ворот кофты. На вывалившихся розоватых, девически-крепких грудях вишнево-синие частые подтеки.

— Не знаешь чево?.. Бьет каждый день!.. Кровь высасывает!.. И ты тоже хорош... Напаскудил, как кобель,—и в сторону... Все вы...—дрожащими пальцами застегивала кнопки и испуганно, не обиделся ли, глядела на отвернувшегося Григория.

— Виноватова ищешь?—перекусывая травяную былку, протянул он.

Спокойный голос его плеснул на Аксинью варом.

— Аль ты не виноват? — крикнула запальчиво.

— Сучка не схочет, так и кобель не вскочит.

Аксинья закрыла лицо ладонями. Крепким рассчитанным ударом упала обида.

Морщась, Григорий с боку поглядел на нее. В ложбинке между указательным и средним пальцами просачивалась у нее слеза.

Кривой, запыленный в зарослях подсолнухов луч просвечивал прозрачную капельку и сушил оставленный ею на коже влажный след.

Григорий не переносил слез. Он беспокойно заерзал по земле, ожесточенно стяхнул с штанины коричневого муравья и снова коротко взглянул на Аксинью. Она сидела, не изменив положения, только на тыловой стороне ладони вместо одной уже три слезных дробинки капились вперегонку.

— Чево кричишь? Обидел? Ксюша! Ну, погоди... Постой, хочу что-то сказать.

Аксинья оторвала от мокрого лица руки.

— Я за советом пришла... За што ж ты?.. И так горько... а ты... лежачего вдарил...

Побагровел Григорий.

— Ксюша... сбрыхнул словцо, ну, не обижайся...

— Я не навязываться пришла... Не бойсь!

В эту минуту она сама верила, что не затем пришла, чтобы навязываться Григорию; но когда бежала над Доном в займище думала, не отдавая себе ясного отчета: «Отговорю! Нехай не женится. С кем же жизнь свяжу?!» Вспомнила тогда о Степане и норовисто мотнула головой, отгоняя некстати подвернувшуюся мысль.

— Значица, кончилась наша любовь? — спросил Григорий и лег на живот, облокотившись и выплевывая розовые изжеванные под разговор лепестки повительного цветка.

— Как кончилась? — испугалась Аксинья. — Как же это? — переспросила она, стараясь заглянуть ему в глаза.

Григорий ворочал синими выпуклыми белками, отводил глаза в сторону.

Пахла выветренная, истощенная земля прелью и солнцем. Ветер шуршал, перелистывая зеленые страницы подсолнечных листьев. На минуту затуманилось солнце, заслоненное курчавой спиной облака, и на степь, на хутор, на аксиньину понурую голову, на розовую чашечку цветка курчаватой повители упала, клубясь и уплывая, дымчатая тень.

Григорий вздохнул, — лошадиный с выхрипом вышел вздох, — и лег на спину, грея лопатки горячей землей.

— Вот што, Аксинья, — заговорил он медленно, расстановливая слова, — муторно, так-то, — сосет идей-то в грудях... Я надумал...

Над огородом, повизгивая, поплыл скрип арбы.

— Цоб, лысый! Цобэ! Цобэ!..

Окрик показался Аксинье настолько громким, что она ничком упала на землю. Григорий, приподнимая голову, шепнул:

— Платок сыми. Белеет. Как бы не увидали.

Аксинья сняла платок. Струившийся между подсолнухами горячий ветер затрепал на шее завитки золотистого пуха. Утихая, повизгивала от'езжавшая арба.

— Я вот што надумал, — начал Григорий и оживился. — Што случилось, тово ить не вернешь, чево ж тут виноватова искать? Надо как-то дальше проживать...

Аксинья, насторожившись, слушала, ждала, ломала отнятую у муравья былку. Глянула Григорию в лицо — уловила сухой и тревожный блеск его глаз.

— ...Надумал я: давай с тобой прикончим...

Кочнулась Аксинья. Скрученными пальцами вцепилась в жилистую повить. Раздувая ноздри ждала конца фразы. Огонь страха и нетерпения жадно лизал ей лицо, сушил во рту слюну. Думала, скажет Григорий: «...прикончим Степана», но он досадливо облизал пересохшие губы (тяжело ворочались они) и сказал:

— ...прикончим эту историю. А?

Аксинья встала и, наткаясь грудью на желтые болтающиеся головки подсолнечников, пошла к дверцам.

— Аксинь! — придушенно окликнул Григорий.

Тягуче заскрипели дверцы.

Григорий скинул фуражку, чтобы не виднелся красный околыш, щурясь, поглядел Аксинье вслед. Не она шла будто ухарской, в раскачку поступью, а другая, чужая и незнакомая.

## XVII

За житом — не успели еще свозить на гумна — подошла и пшеница. На суглинистых местах, на пригорках желтел и сворачивался в трубку подгорающий лист, пересыхал отживший свое стебель.

Урожай, — хвалились люди, — добрый. Колос ядреный, зерно тяжеловесное, пухлое.

С весны прихватило хлеба восточным суховеем, оттого стебель низкорослый вышел, тощ. Соломенка — никудышная.

Пантелей Прокофьевич, посоветовавшись с Ильинишной, порешил: если сосватают у Коршуновых, отложить свадьбу до крайнего спаса.

За ответом еще не ездили, — тут покос подошел, а тут праздника ждали.

Косить выехали в пятницу. В косилке шла тройка лошадей. Пантелей Прокофьевич подтесывал на арбе лошню, готовил хода к возке хлеба. На покос выехали Петро и Григорий.

Григорий шел, придерживаясь за переднее стульце, на котором сидел Петро, хмурился. От нижней челюсти наискось к скулам, дрожа, перекатывались желваки. Петро знал, что это верный признак того, что Григорий кипит и готов на любой безрассудный поступок, но, посмеиваясь в пшеничные свои усы, продолжал дразнить брата:

— Эй-бо, рассказывала!

— Ну, и пушай, — мурчал Григорий, прикусывая пушистый волосок усины.

— «Иду, — гутарит, — с города, слышу в мелеховских подсолнухах кубить людские голоса».

— Петро, брось!

— Да-а-а... голоса. «Я это, дескать, заглянула через плетень...»

Григорий часто заморгал глазами, посерел в лице.

— Перестанешь? Нет?

— Вот, чудак, дай досказать-то!

— Гляди, Петро, подеремся, — пригрозил Григорий, отставая.

Петро пошевелил бровями и пересел задом к лошадям, лицом к Григорию, шагавшему сзади.

— «Заглянула, мол, через плетень, а они, любушки, лежат в обнимку». «Кто?» — спрашиваю, а она: «да Аксюта Астахова с твоим братом». Я говорю...

Григорий ухватил за держак короткие вилы, лежавшие в задке косилки, и кинулся к Петро. Тот, бросив вожжи, прыгнул с сиденья, вильнул к лошадям наперед.

— Тю, проклятый!.. Сбесился!.. Тю! Тю! Глянь на нево!..

Оскалив по-волчьи зубы, Григорий метнул вилы. Петро упал на руки, и вилы, пролетев над ним, на вершок вошли в кремнистую сухую землю, задрожали, вызванивая.

Потемневший Петро держал под уздцы взволнованных криком лошадей и ругался.

— Убить бы мог, сволочь!

— И убил бы!

— Дурак ты! Чорт бешеный! Вот в батину породу выродился, истованный черкесюка!

Григорий выдернул вилы и пошел следом за тронувшейся косилкой. Петро поманил его пальцем.

— Поди-ко мне. Дай-ка вилы.

Он передал в левую руку вожжи и взял вилы за выбеленный зубец. Дернул ничего не ожидавшего Григория держакom вдоль спины.

— С потягом бы надо! — пожалел, оглядывая отпрыгнувшего в сторону Григория.

Через минуту, закуривая, глянули друг другу в глаза и захохотали.

Христонина жена, ехавшая с возом по другой дороге, видела, как Гришка запустил вилами в брата. Она привстала на возу, на колыхавшееся под ногами жито, но не могла разглядеть, что происходило у Мелеховых, — заслоняли взгляд косилка и лошади. Не успела в'ехать в проулок, — шумнула соседке:

— Климовна! Надбяги, скажи Пантелею-турку, што ихние ребята возля Татаровскова кургана вилами попоролись. Задрались, а Гришка — ить он же взгальный! — как саданет Пятра вилами в бок, а энтог, тем часом, ево... Там кравищи натякло... страсть!

Петро уж охрип орать на нудившихся лошадей и залиvisto по-свистывал. Григорий, упираясь черной от пыли ногой в перекладину, спихивал с косилки наметанные крыльями валы. Лошади, в кровь иссеченные мухами, крутили хвостами и недружно натягивали постромки.

По степи до голубенькой каемки горизонта копошились люди. Стрекотали, чечekali ножи косилок, пятнилась валами скошенного хлеба степь. Передразнивая погоньчей, свистели на кургашках сурки.

— Ишо два загона, и закурим, — оквось свист крыльев и перестук ножей крикнул, оборачиваясь, Петро.

Григорий кивнул головой. Обветренные перепавшиеся губы трудно было разжимать. Он короче перехватывал вилы, чтоб легче было спихивать тяжелые вороха хлеба, порывисто дышал. Мокрая от пота грудь чесалась. Из-под шляпы тек горький пот, попадая в глаза, щипал, как мыло. Остановив лошадей, напились и закурили.

— По шляху кто-то верхи бегет, — глядя из-под ладони, проговорил Петро.

Григорий всмотрелся и изумленно поднял брови.

— Батя, никак.

— Очумел, ты! На чем он поскачет, — кони в косилке ходют.

— Он.

— Обознался, Гришка!

— Ей-богу, он!

Через минуту ясно стало видно лошадь, стлавшуюся в броском намете, и седока.

— Батя... — в испуганном недоумении затоптался на месте Петро.

— Должно, дома што-нибудь... — высказал Григорий общую мысль.

Пантелей Прокофьевич, не доезжая сажен сто, придержал лошадь и потрусил рысю.

— Пе-ре-по-рю-ю-ю-у-у... сукины сыны!.. — завопил он еще издали и размотал над головой ременный арапник.

— Чево?.. — окончательно изумился Петро, засовывая в рот до половины пшеничный свой ус.

— Хоронись за косилку! Истинный бог, стебанет кнутом. Покель разберемся, а он выпорет... — посмеиваясь, сказал Григорий и на всякий случай зашел на ту сторону косилки.

Взмыленная лошадь шла по жнивью тряской рысцей. Пантелей Прокофьевич, болтая ногами (ехал он без седла, охлюпкой), потрясал арапником.

— Што вы тут наделали, чортово семя?!

— Косим... — развел руками Петро и опасно покосился на арапник.

— Кто кого вилами порол? За што дрались?..

Повернувшись к отцу спиной, Григорий шопотом считал разметанные ветром облака.

— Ты што? Какими вилами? Кто дрался?.. — Петро, моргая, глядел на отца снизу вверх и переступал с ноги на ногу.



— Да как же, мать ее курица, прибегла и орет: «Ребята ваши вилами попоролись». А? Это как?.. — Пантелей Прокофьевич иступленно затряс головой и, бросив повод, соскочил с задыхавшейся лошади. — Я у Семишина Федьки коня ухватил, да в намет. А?..

— Да кто это говорил?

— Баба!..

— Брешет она, батя! Спала, проклятая, на возу и привидилось ей такое.

— Баба! — визгливо закричал Пантелей Прокофьевич, измываясь над собственной бородой. — Климовна-курва! Ах ты, бо-же мой!.. А? Запорю сучку!.. — затоптал он ногами, припадая на левую хроющую.

Подрагивая от немого смеха лопатками, Григорий глядел под ноги Петро, глаз не спускал с отца, поглаживал потную голову.

Пантелей Прокофьевич напрыгался и притих. Сел на косилку, проехал, скидывая, два загона и, чертыхаясь, влез на лошадь. Выехал на шлях, обогнал два воза с хлебом и запылл в хутор. На борозде остался позабытый, мелко витой с нарядным махром арапник. Петро покрутил его в руках, головой покачал и к Гришке:

— Было б нам с тобой, парниша. Ишь, это разве арапник? Это, брат, увечье, голову отсечь можно.

## XVIII

Коршуновы слыли первыми богачами в хуторе Татарском. Четырнадцать пар быков, косяк лошадей, матки с Провальских заводов, полтора десятка коров, пропасть тулевого скота, гурт — несколько сот овец. Да и так поглядеть есть на што: дом не хуже моховского, о шести комнатах — под железом, ошалеван пластинами; дворовая служба крыта черепицей нарядной и новой; сад — десятины полторы с ливадой. Чего же еще человеку надо?

Поэтому-то с робостью и затаенной неохотой ездил в первый раз Пантелей Прокофьевич свататься. Коршуновы для своей дочери жениха не такого, как Григорий, могли подыскать. Пантелей Прокофьевич понимал это, боялся отказа, не хотел кланяться своему равному Коршуну; но Ильинишна точила его, как ржа железа, и под конец сломила упрямство старика. Пантелей Прокофьевич согласился и поехал, кланя в душе и Гришку, и Ильинишну, и белый свет кстати.

Надо было ехать во второй раз за ответом, ждали воскресенья, а в это время под крашеной медяной крышей коршуновского дома горела глухая междуусобица. После отъезда сватов невеста на материн вопрос ответила:

— Люб мне Гришка, а больше ни за кого не пойду!

— Нашла жениха, дуреха,— урезонивал отец,— только и доброва, што черный, как цыган. Да рази я тебе, моя ягодка, такова женишка сыщу?

— Не нужны мне, батенька, другие... — краснела и роняла слезы Наталья, — не пойду, пушай хучь не сватают. А то хучь в Усть-Медведицкий монастырь везите...

— Потаскун, бабник, по жалмеркам бегаает, — козырял отец последним доводом, — слава на весь хутор легла...

— Ну и нехай!

— Тебе нехай, а мне и подавно. С моей руки куль муки, когда такое дело.

Наталья — старшая дочь — была у отца любимицей, оттого не теснил он ее выбором. Еще в прошлый мясоед наезжали сваты издалека, с речки Цуцкана, богатые не вприворот староверы-казаки; прибивались и с Хопра сваты и с Чира, но женихи Наталье не нравились, и пропадала даром сватовская хлеб-соль.

Миرونу Григорьевичу в душе Гришка нравился за казацкую удаль, за любовь к хозяйству и работе. Он выделил его из толпы станичных парней еще тогда, когда на скачках Гришка за джигитовку снял первый приз, но ему казалось обидным отдать дочь за жениха небогатого и опороченного дурной славой.

— Работающий паренек и собой с лица красивенький... — нашептывала по ночам ему жена, поглаживая его засеянную веснушками и рыжей щетиной руку, — а Наталья, Григорыч, по нем чисто сохлась вся... Дюже к сердцу пришелся.

Мирон Григорьевич поворачивался спиной к жениной костлявой холдной груди, сердито бурчал:

— Отвяжись, репей! Выдавай хучь за Пашу-дурачка, мне-то што? То-то умом бог обнес! «С лица красивенький»... — косноязычил он жену, — што, ты с ево морды урожай будешь сымать, што ли?..

— Так уж урожай...

— Да понятно, на што тебе ево личность? Был бы он из себя человек. Да мне, признаться, и зазорно трошки выдавать свою дочью к туркам. Уж были бы люди, как люди... — гордился Мирон Григорьевич, подпрыгивая на кровати.

— Работающая семья и при достатке... — нашептывала жена и, придвигаясь к плотной спине мужа, успокаивающе гладила его руку.

— Э, чорт, отодвинься, што ли! Чисто тебе места окрома нету. Што ты меня гладишь-то, как стельную корову? А с Натальей как знаешь. Выдавай хочь за стриженую девку!..

— Дитя свово жалеть надо. Бог с ним и с богатством... — кипела в заросшее волосами ухо Мирона Григорьевича.

Тот сучил ногами, влипал в стенку и всхрапывал, будто засыпая.

Приезд сватов застал их врасплох. После обедни подкатили они на тарантасе к воротам. Ильинишна, наступив на подножку, едва не опрокинула тарантас, а Пантелей Прокофьевич прыгнул с сиденья молодым петухом, хотя и осушил ноги, но вида не подал и молодецки зачилял к куреню.

— Вот они! Как чорт их принес! — охнул Мирон Григорьевич, глядявая в окно.

— Светики-кормилицы, я-то как стряпалась, так и не скинула буднюю юбку! — вскудахталась хозяйка.

— Хороша и так! Небось, не за тебя сватаются, кому нужна-то, лишай конский!..

— Сроду безобразник, а под старость дюжей свихнулся.

— Но-но, ты у меня помалкивай!

— Рубаху-ба чистую надел, кобаржину вон на спине видать, и не совестно? Ишь, нечистый дух! — ругалась жена, оглядявая Мирона Григорьевича, пока сваты шли по базу.

— Небось, гляди, угадают и в этой. Рогожку надену — и то не откажутся.

— Доброва здоровья! — спотыкаясь о порог, кукарекнул Пантелей Прокофьевич и сконфузился за зычный свой голос; дело поправил тем, что с полфунта черной шерсти, выросшей на бороде, запихнул себе в рот и лишний раз перекрестился на образа.

— Здравствуйте, — приветствовал хозяин, чортом, оглядявая сватов.

— Погодку дает бог.

— Слава богу, держится.

— Народ хучь трошки подуправится.

— Уж это так.

— Та-а-ак...

— Агм...

— Вот мы и приехали, значит, Мирон Григорич. С тем, штоб узнать, как вы промеж себя надумали, и сойдемся ли сватами, али не сойдемся...

— Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста, — приглашала хозяйка, кланяясь и обдувая подолом длинной сборчатой юбки натертым кирпичом пол.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

Ильинишна уселась, шелестя поплином подворачиваемого платья. Мирон Григорьевич облокотился о стол, принаряженный новой клеенкой, помолчал. От клеенки дурно пахло мокрой еще резиной и еще чем-то; важно глядели покойники-цари и царицы с каемчатых углов, а на сре-

дине красовались августейшие девицы в белых шляпах и обсиженный мухами государь Николай Александрович.

Мирон Григорьевич порвал молчание:

— Што ж... Порешили мы девку отдать. Породнимся, коли сойдемся...

В этом месте речи Ильинишна откуда-то из неведомых глубин своей люстриновой, с буфами на рукавах, кофты, откуда-то, как будто из-за спины, выволокла наружу высокий белый хлеб и жмякнула его на стол.

Пантелей Прокофьевич хотел зачем-то перекреститься, но заскользящие клешнятые пальцы, сложившись в крестное знамение и поднявшись до половины следуемого пути, изменили форму: большой черненький ногтястый палец против воли хозяина нечаянно просунулся между указательным и средним, и этот бесстыдный узелок пальцев воровато скользнул за оттопыренную полу синего чекменя, а оттуда извлек сваченную за горло красноголовую бутылку.

— Давайте теперя, дорогие вы мои сваточки, помолимся богу и выпьем и поговорим про наших деточков и про уговор...

Пантелей Прокофьевич, расстроганно моргая, глядел на засеянное холодными конапушками лицо свата и ласково шлепал широкой, как лошадиное копыто, ладонью бутылку в зад.

Через час сваты сидели так тесно, что смолянистые кольца мелеховской бороды щупали прямые рыжие пряди коршуновской бороды. Пантелей Прокофьевич сладко дышал соленым огурцом и уговаривал:

— Дорогой мой сват, — начинал он гудящим шопотом, — дорогой мой сваточек! — сразу повышал голос до крика, — сват! — ревел он, обнажая черные притупленные резцы, — кладка ваша чересчур очень дюже непереносимая для меня! Ты вздумай, дорогой сват, вздумай, как ты меня желаешь обидеть: гетры с калошами — раз, шуба донская — два, две платки шерстяных — три, платок шелковый — четыре. Ить это — раз-зор-ре-нья!..

Пантелей Прокофьевич широко разводил руками, швы на плечах его лейб-казачьего мундира трещали, и пучками поднималась пыль. Мирон Григорьевич, снизив голову, глядел на залитую водкой и огуречным рассолом клеенку. Прочитал сверху завитую затейливым рисунком надпись: «Самодержцы российские». Повел глазами пониже: «Его императорское величество государь император Николай»... Дальше легла картофельная кожура. Всмотрелся в рисунок: лицо государя не видно, стоит на нем опорожненная водочная бутылка. Мирон Григорьевич, благоговейно моргая, пытался разглядеть форму богатого, под белым поясом мундира, но мундир был густо заплеван огуречными скользкими семечками. Из круга бесцветно-одинаковых дочерей само-

довольно глядела императрица в широкополой шляпе. Стало Мирону Григорьевичу обидно до слез. Подумал: «Глядишь зараз дюже гордо, как гусыня из кошелки, а вот придется дочерю выдавать замуж — тогда я по-гля-жу-у... небось, тогда запрядаешь!»

Под ухом его большим черным шмелем гудел Пантелей Прокофьевич. Поднял на него в мутной слизи глаза, прислушался:

— Нам штоб справить для твоей, а теперя оно все одно и моей, дочери... для моей и твоей дочери такую кладку... опять же гетры с калошами и шуба донская... нам надо скотиняку с базу согнать и продать.

— Жалко?.. — стукнул Мирон Григорьевич кулаком.

— Не в том случае, што жалко...

— Жалко?!

— Погоди, сват...

— А коли жалко — под такую мать!

Мирон Григорьевич повел растопыренной потной рукой по столу, сгреб на пол рюмки.

— Твоей же дочери жить придется и наживать!

— И пу-щай! А кладку клади, иначе и не сваты!..

— Скотиняку с базу сгонять... — крутил Пантелей Прокофьевич головой.

Серьга дрожала в ухе, скупно поблескивая.

— Кладка должна быть!.. У ней свово наряду сундуки, а ты мне-е-е уважь. Ежели по сердцу она вам пришлась!.. Такая наша казацкая повадка, в старину было; а нам — к старине лепиться...

— Уважу!..

— Уважь.

— Уважу!..

— А наживать — пушай молодые наживают. Мы нажили и живем не хуже людей, мать их чорт, нехай и они наживут себе!..

Сваты сплели бороды разномастным плетнем. Пантелей Прокофьевич заел поцелуй бессочным вялым огурцом и заплакал от многих, слившихся воедино чувств.

Свахи, обнявшись, сидели на сундуке, глушили одна другую треском голосов. Ильинишна полыхала вишневым румянцем, сваха ее зеленела от водки, как зашибленная морозом лесная груша-зимовка.

— ...Дите, таких-то и на свете нету! Было б тебе слухменная да почтительная, уж эта из-под власти не выйдет. Слово, милая свашенька, вспоперек боится сказать.

— Ишь, моя милушка, — перебивала ее Ильинишна, левой рукой подпирая щеку, а правой поддерживая под локоть левую, — до скольких разов гутарила ему, сукину сыну! В надышнюю воскресенью так-то вечером собирается иттить, табаку в кисет сыпет, а я и говорю:

«Ты когда ж ее бросишь, анчибил проклятый? До каких пор мне такую сраму на старости лет примать? Ишь он, Степан, вязы тебе в одночась свернет!..»

Из кухни в горницу через верхнюю дверную щель выглядывал Митька, внизу шушукались две младших натальиных сестренки.

Наталья сидела в дальней угловой комнате на лежанке, сушила слезы узким рукавом кофточки. Пугала ее новая, стоявшая у порога жизнь, томила неизвестность.

В горнице доканчивали третью бутылку водки; сводить жениха с невестой порешили на первый спас.

## XIX

В коршуновском курене предсвадебная суета. Невесте наспех дошивали кое-что из белья. Наталья вечера просиживала, вывязывая жениху традиционный шарф из козьего дымчатого пуха и пуховые перчатки.

Мать ее, Лукинишна, гнула до потемок над швейной машиной — помогала портнихе, взятой из станицы.

Митька приезжал с отцом и работником с поля, не умываясь и не скидая с намозоленных ног тяжелых полевых чириков, проходил к Наталье в горницу, подсаживался. Изводить сестру было для него большущим удовольствием.

— Вяжешь? — коротко спрашивал он и подмигивал на пушистые мохры шарфа.

— Вяжу, а тебе чево?

— Вяжи, вяжи, дура, а он заместь благодарности морду тебе набьет.

— За што?

— За здорово живешь, я Гришку знаю, друзьяки с ним. Это такой кобель — укусит и не скажет за што.

— Не бреши уж! Кубыть я ево не знаю.

— Я-то подожей знаю. В школу вместе ходили.

Митька тяжело и притворно вздыхал и разглядывал исцарапанные вилами ладони, низко гнул высокую спину.

— Пропадешь ты за ним, Наташка! Сиди лучше в девках. Чево в нем доброва нашла? Ну? Страшон, — конем не наедешь, дурковатый, какой-то... ты приглядиись: по-га-ный парень!..

Наталья сердилась, глотала слезы и клонила над шарфом жалкое лицо.

— А главное — сухота у него есть... — безжалостно ехидничал Митька. — Чево же ты кричишь? Глупая ты, Наташка. Откажись! Я раз заседлаю коня и поеду, скажу: мол, не забивайтесь боле.

Выручал Наталью дед Гришака: входил он в горенку, щупая шишкастым костылем прочность пола и разглаживая желтую коноплю свалевшейся борода, спрашивала, тыча в Митьку костылем:

— Ты чево, поганец, заевился сюда... ась?

— На провед зашел, дедуня, — оправдывался Митька.

— Проведать? Ась? Я тебе, поганец, велю уйтигь отселя.

Шагом ари!

Дед взмахивал костылем и подступал к Митьке, нетвердо представляя высохшие в былку ноги.

Дед Гришака топтал землю шестьдесят девять лет. Участвовал в турецкой кампании 1877 года, состоял ординарцем при генерале Гурко, попал в немилость и был отослан в полк. За боевые отличия под Плевной и Рошичем имел два Георгия и георгиевскую медаль. Был односумом с Прокофием Мелеховым и, доживая у сына, пользуясь в хуторе всеобщим уважением за ясный до старости ум, неподкупную честность и хлебосоольство, короткие остатки жизни тратил на воспоминания.

Летом с восхода до заката солнца сиживал на завалинке, чертил костылем землю, угнув голову, думал неясными образами, отрывками мыслей, плывущими сквозь мглу забвения тусклыми отсветами воспоминаний...

От потрескавшегося козырька казачьей слинявшей фуражки падала на черные веки закрытых глаз черная тень; от тени морщины щек казались глубже, седая борода отливала сизью. По пальцам, скрещенным над костылем, по кистям рук, по выпуклым черным венам шла черная, как чернозем в логу, медленная в походе кровь.

Год от года холодела кровь. Жалился дед Гришака Наталье — любимой внучке.

— Шерстяные чулки, а не греют мои ноженьки. Ты мне, чадушка, свяжи крючковые.

— Што ты, дедуня, ить зараз лето! — смеялась Наталья и, подсаживаясь на завалинку, глядела на большое морщенное и желтое ухо деда.

— Дык што ж, моя чадунюшка, хучь она и лето, а кровь, как в глуже, холодная.

Наталья смотрела на сетчатку жил на дедовой руке, вспоминала: во дворе рыли колодец, и она — тогда еще девчонка, — вычерпывая бадьей влажную глину, делала тяжелых кукол и коров с рассыпчатыми рогами. Она живо восстанавливала в памяти ощущение, испытываемое руками от прикосновения к мертвой, ледянистой земле, добытой с пяти-

саженной глубины, и уже со страхом смотрела на дедовы руки в коричневых, глиняного цвета, старческих веснушках.

Казалось ей, что по дедовым рукам течет не веселая алая кровь, а буро-синяя суглинистая земля.

— Боишься помирать, дедуня? — спрашивала она.

Дед Гришака крутил тонкой, в морщинах и сухожильях шеей, словно выпрастывая ее из стоячего воротника проношенного мундира, шевелил зеленой сединой усов.

— Жду смертыньку, как дорогова гостя. Пора уж... и пожил, и царям послужил, и водки попил на своем веку, — добавлял он, улыбаясь белозубым ртом и дрожа морщинками глаз.

Наталья гладила дедовы руки и отходила, а он все так же сгорбившись, царапая землю вытертым у ручки костылем, сидел на завалинке в сереньком заштопанном во многих местах мундире; и молодо и задорно смеялись красные веселые петлицы на тугом стоячем воротнике.

Известие о том, что Наталью сватают, принял он с внешним спокойствием, но в душе горевал и злобился: Наталья за столом подсовывала ему лучший кусок, Наталья стирала его бельишко, штопала, вязала чулки и чинила шаровары и рубахи, оттого дед Гришака, узнав, и глядел дня два на нее с суровой строгостью.

— Мелеховы — славные казаки. В одном полку служил с покойником Прокофием, молодецкий был казачок. А внуки как? Ась?

— И внуки ничево, — уклончиво отвечал Мирон Григорьевич.

— Гришка-то непочтительный, поганец. Надьсь иду из церкви, встретился со мной и не поздравствовался. Старики ноне не дуже в почете...

— Он ласковый паренек, — вступилась Лукинишна за будущего зятя.

— Ась? Ласковый, гутаришь? Ну, што ж, давай бог, Абы Наташке по душам был...

В сговоре дед Гришака участия почти не принимал, на минутку выполз из горенки, посидел за столом, с трудом процедил сквозь суженное горло рюмку водки и, согревшись, чувствуя, что пьянеет, ушел.

Два дня молча поглядывал на встревоженно-счастливую Наталью, жевал ртом, двигал пучками белых с прозеленью усов; потом, видно, смягчился.

— Наташка! — окликнул как-то.

Наталья подошла.

— Ты чево же, внучушка, рада, небось? Ась?

— Я и сама не знаю, дедуня, — призналась Наталья.



— Ну-ну... ну-ну... Ишь ты... Ну, Христос с тобой. Дай бог,—и с досадой и горечью упрекнул:— Не дождалась, поганка, покуда помру, тогда бы и вышла... Без тебя горькая будет мне жизнь...

Митька, подслушавший из кухни их разговор, сказал:

— Ты, дед, может ишо сто годов проживешь, а она будет дожидаться? Штукарь ты добрый.

Дед Гришака покраснел до черноты и удушья. Застучал костылем, ногами.

— Цы-ы-ы-ц, поганец, сукин сын!.. Пошел!.. Пошел!.. Ах ты, нечистый дух!.. Подслуhal вражина!..

Митька сбежал на баз посмеиваясь, а дед Гришака долго возмущался, ругал Митьку, и ноги его, обутые в шерстяные короткие чулки, дрожали в коленях.

Две младших наталиных сестренки, Маришка—подросток лет 12—и Гриппа—восьмилетняя пройдоха и баловница, с нетерпением ожидали дня свадьбы.

Сдержанную радость выказывали и работники, постоянно жившие у Коршуновых. Они ждали щедрого от хозяина угощенья и надеялись на пару свободных во время гульбы дней. Один из них, высокий, с колодезный журавль, богучарский хохол с диковинной фамилией Геть-Баба в полгода раз пил запоем. Пропивал все с себя и заработок. Давно уже подмывало его знакомое чувство сосущей тошноты, он он сдерживался, приурочивая начало запоя к свадьбе.

Второй, москлявый и смуглый казачок станицы Мигулинской, по имени Михей, жил у Коршуновых недавно, разоренный пожаром нанялся в работники и, сдружившись с Гетьком (так сокращенно звали Геть-Бабу), начал время от времени попивать. Был он страстным любителем лошадей, подвыпив, плакал и, размазывая слезы по остренькому безбровому лицу, приставал к Мирону Григорьевичу:

— Хозяин! Любушка ты моя! Будешь дочерю выдавать—Михейку в поезжанье допусти. Уж я проеду—так видно будет! Сквозь полымя проскачу и волоска на конях не опалю. У меня у самого кони были... Эх!..

Постоянно мрачный и нелюдимый Гетько почему-то привязался к Михею, изводил его одной и той же шуткой:

— Михей, чуешь? Ты какой станицы? — спрашивал он его, потирая длинные, по колено, чашечки руки; и сам же отвечал, меняя голос:

— «Мигулинский» — А що ж це ты такой х...ский? — «Та у нас уся порода такая».

Он неизменно и хрипло хохотал над постоянно повторявшейся шуткой. Шлепал себя ладонями по длинным, сухим до звонка голеням, а

Михей ненавидяще оглядывал выбритое гетькозэ лицо, кадык, трепетавший на горле, и ругал его сычом и коростой.

Свадьбу назначили в первый мясоед. Оставалось три недели. На Успенье приезжал Григорий проведать невесту. Посидел в горенке за круглым столом, полушил семячки и орехи с девками — подружками невесты — и уехал. Наталья его провожала. Под навесом сарая, где кормился у яслей гришкин конь, подседланный новехоньким нарядным седлом, шмыгнула рукой за пазуху и, краснея, глядя на Григория влюбленными глазами, сунула ему в руку мяккий, таящий тепло девичьих ее груди матерчатый комочек. Принимая подарок, Григорий ослепил ее белизною своих волчьих зубов, спросил:

— Это што?

— Там увидишь... кiset расшила.

Григорий нерешительно притянул ее к себе, хотел поцеловать, но она с силой уперлась руками в грудь, гибко перегнулась назад и со страхом метнула глазами на окна.

— Увидют!..

— А нехай!

— Совестно...

— Это попервам, — пояснил Григорий.

Она держала повод, Григорий, жмурясь, ловил ногой зазубренное стремя. Он уселся поудобней на подушке седла и поехал с база. Наталья отворила ворота, из-под ладони глядела вслед: Григорий сидел по-калымцки, слегка свесившись на левый бок, ухарски помахивая плетью.

«Одиннадцать ден осталось», — высчитывала в уме Наталья и вздохнула и засмеялась.

## XX

Всходит остролистая зеленая пшеница, растет, через полтора месяца грач хоронится в ней с головой, и не видно; сосет из земли соки, выколосится, набухнет зерно пахучим и сладким молоком; потом зацветет, золотая пыль кроет колос. Выйдет хозяин в степь—глядит, не нарадуется. Откуда не возьмись забрел в хлеба табун скота: ископытили, в пахоть затолочили грузные колосья. Там, где валялись, — круговины примятого хлеба... Дико и горько глядеть.

Так и с Аксиньей: на вызревшее в золотом цветеньи чувство наступил Гришка тяжелым сыромятным чириком. Испепелил, испоганил, и все.

Пусто и одичало, как на забытом затравевшем лебедю и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода из подсолнухов.

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей

в голову... А потом прошло. Где-то на донышке сердца сосало и томило остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается влоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и также светит ему день и тот же качает ветер...

По ночам иступленно лаская мужа, думала Аксинья о том, о другом, и плелась в душе ненависть с великой любовью. В мыслях шла баба на новое бесчестье, на прежний позор: решила отнять Гришку у счастливой, ни горя, ни радости любовной неведавшей Натальи Коршуновой. По ночам передумывала вороха мыслей, моргала сухими глазами в тень. На правой руке тяжелела во сне голова Степана, красивая, с курчавым длинным чубом на сторону. Он дышал полуоткрытым ртом, черная рука его, позабытая на жениной груди, шевелила растрескавшимися от работы железными пальцами. Думала Аксинья. Примеряла. Передумывала. Одно лишь решила накрепко: Гришку отнять у всех, залить любовью, владеть, как раньше.

И на донышке сердца остренькое, похожее на оставленное жало пчелы, точило сукровичную боль.

Это — ночами. А днем топила Аксинья думки в заботах, в суете по хозяйству. Встречала где-либо Гришку и, бледнея, несла мимо красивое, стосковавшееся по нем тело, бесстыдно зазывно глядела в черную дичь его глаз.

Чувствовал Гришка после встречи с ней сосущую тоску. Без причины злобствовал, рвал зло на Дуняшке, на матери, а чаще всего брал шашку, уходил на задний баз и, омываясь потом, двигая желваками скул, рубил понатыканные в землю толстые хворостины. За неделю нарубил ворох. Пантелей Прокофьевич рутался, сверкая серьгой и желтыми белками глаз:

— Нарубил, дьявол паршивый, на два плетня хватило бы! Ишь, гжигит нашелся, мать твоя курица! Вон в хворост поезжай и чжигитуй... Погоди, парень, пойдешь на службу, там нарубишься!.. Там вашево брата скоро об'ездут...

## XXI

За невестой в поезжанье нарядили четыре пароконных подводы. По-праздничному нарядные люди толпились на мелеховском базу возле бричек.

Дружко — Петро — в черном сюртуке и голубых с лампасами шароварах, левый рукав его перевязан двумя белыми платками, под пшеничными усами постоянная твердая усмешка. Он — возле жениха.

— Ты, Гришка, не робей! Голову по-кочетиному держи... што насупонился-то?

Возле бричек бестолковщина, шумок.

— Где же подженишник делся? Пора бы выезжать.

— Кум?

— А?

— Кум, ты на второй бричке поедешь. Слышишь, кум?

— Люльки поприцепили на бричках?

— Небось, не рассыпешься и без люлек. Мягкая!

Дарья, в малиновой шерстяной юбке, гибкая и тонкая, как красноталовая хворостинка, повода подкрашенными дугами бровей, толкала Петро.

— Пора ехать, говори бате. Там заждались теперича.

Пошептавшись с прихрамавшим откуда-то отцом, Петро распорядился.

— Рассаживайся! На мою бричку пятеро с женихом. Аникей, ты за кучера!

Разместились. Багровая и торжественная Ильинишна отворила ворота. Четыре брички захватили по улице на перегонки.

Петро сидел рядом с Григорием. Против них махала кружевной утиркой Дарья. Ухабы и кочки рвали голоса, затянувшие песню. Красные околыши казачьих фуражек, синие и черные мундиры и сюртуки, рукава в белых перевязях, рассыпанная радуга бабьих шалевых платков, цветные юбки, кисейные шлейфы пыли за каждой бричкой. Поезжанье.

Аникей, сосед Мелеховых, доводившийся Григорию троюродным братом, правил лошаадьми. Сवेशиваясь, почти падая с козел, он щелкал кнутом, взвизгивал, и запотевшие лошади рвали постромки, вытягиваясь в струну.

— Сыпь им! Сыпь... — орал Петро.

Безусый, скопцеватый Аникей подмигивал Григорию и, морща голое бабье лицо тонкой улыбкой, взвизгивал и порол лошадей кнутом.

— То-ро-нись!.. — прогремел, обгоняя их, Илья Ожогин — дядя жениха по материнной линии.

За его спиной разглядел Григорий счастливое с подпрыгивающими смуглыми щеками лицо Дуняшки.

— Нет, погоди!.. — крикнул Аникей, вскочив на ноги, и пронзительно свистнул.

Лошади захлеснулись в бешеной скачке.

— Упа-па-па-де-ешь!.. — визжала Дарья, подпрыгивая и обнимая руками лакированные сапоги Аникея.

— Держись!.. — ухал в стороне дядя Илья.

Голос его тонул в сплошном стоне колес.

Остальные две брички, доверху набитые цветными воющими кучами людей, скакали по дороге рядом. Лошади в кумачных, голубых, бледно-розовых попонках; в бумажных цветах, в лентах, заплетенных в

гривы и чолки, в перевязке громышковых, стлались над кочковатой дорогой, роняя шмотья мыла, и попонки над взмысленными мокрыми спинами хлопали, рябились, полоскаемые ветром.

У коршуновских ворот поезжанье сторожила ватага ребятишек. Увидели пыль по дороге и сыпанули во двор.

— Едут!

— Скачут!..

— За-видне-лись!.. — огорновали встреченного Гетька.

— Шо вгуртовались? Геть, вражьи горобцы! Зачулюкали аж глушно!

— Хохол-мазница, давай с тобой дражница. Хохол!.. Хохол!.. Дегтярник!.. — заверещала детвора, прыгая вокруг мешочных широких шаровар Гетька.

Тот, наклоня голову, будто в колодезь засматривая, оглядывал бесновавшихся ребят и чесал длинный туюй живот, снисходительно улыбаясь.

Брички с гомоном вкатили во двор. Петро повел Григория на крыльцо, следом потекли приехавшие в поезжанье.

Из сеней в кухню дверь заперта. Петро постучался.

— Господи Иисусе Христе, помилуй нас.

— Аминь, — откликнулись из-за двери.

Петро повторил стук и слова до трех раз; ему глухо откликались.

— Разрешите взойти?

— Милости просим.

Дверь распахнулась. Свашка — крестная мать Натальи — вдовая красивая баба, встретила Петро поклоном и тонкой малиновой усмешкой.

— Прими, дружко, на доброе здоровье.

Она протянула Петро стакан с мутным невыстоявшимся квасом. Петро разгладил усы, выпил и крякнул под общий сдержанный смех.

— Ну, свашенька, и угостила!.. Погоди, ягодка моя ежевишная, я тебя не так угощу, еще наплачешься!..

— Извиняйте, пожалуйста, — кланялась свашка, даря Петро отточенной, с лукавцем улыбкой.

Пока дружко со свашкой состязались в острословии, жениховой родне, согласно уговору, поднесли по три рюмки водки.

Наталью, уже одетую в подвенечное платье и фату, стерегли за столом. Маришка в вытянутой руке держала скало, Гриппа, брызгая из черешенок глаз вызывающий задор, трясла посевкой.

Запотевший, хмельной от водки Петро с поклоном поднес им в рюмке по полтиннику. Сваха мигнула Маришке, та по столу скалом.

— Мало! Не продадим невесту!..

Еще раз поднес Петро позванивавшую в рюмке щепоть серебряной мелочи.

— Не отдадим! — лютовали сестры, толкая локтями потупленную Наталью.

— Чево уж там! И так плочено-переплочено.

— Уступайте, девки, — приказал Мирон Григорьевич и, улыбаясь, протиснулся к столу.

Рыжая голова его, пригложенная топленным коровьим маслом, пахла потом и навозной прелью.

Сидевшие за столом родственники и близкие невесты встали, очищая место.

Петро сунул Григорию в руку конец платка, вспрыгнул на лавку и повел его по-за столом к невесте, сидевшей под образами. Другой конец взяла Наталья потной от смущенья рукой.

За столом чавкали, раздирая вареную курятину руками, вытирая руки о волосы. Аникей грыз куриную кобаргу, по голой бороде стекал на воротник желтый жир.

Григорий с внутренним сожалением поглядывал на свою и натальину ложки, связанные платочком, на дымившуюся в обливной чашке лапшу. Ему хотелось есть, неприятно и глухо бурчало в животе.

Дарья угощалась, сидя рядом с дядей Ильей. Тот, ощипывая ядреными клыками баранье ребро, наверное, шептал Дарье непристойности, потому что та, суживая глаза, подрагивая бровями, краснела и посмеивалась.

Ели основательно и долго. Запах смолистого мужского пота мешался с едким и пряным бабьим. От слежавшихся в сундуках юбок, сюртуков и шалек пахло нафталином и еще чем-то сладко-тяжелым, — так пахнут старушечьи затасканные канунницы.

Григорий искоса поглядывал на Наталью. И тут в первый раз заметил, что верхняя губа у нее пухловата, свисает над нижней козырьком. Заметил еще, что на правой щеке, пониже скулы, лепится коричневая родинка, а на родинке два золотистых волоска, и от этого почему-то стало муторно. Вспомнил аксиньину точеную шею с курчавыми пушистыми завитками волос, и явилось такое ощущение, будто насыпали ему за ожерелок рубахи на потную спину колючую сеньную труху. Поежился и с задавленной тоской оглядел чавкающих, хлюпающих, жрущих людей.

Когда выходили из-за стола, кто-то, дыша взваром и сытой окисью пшеничного хлеба, нагнулся над ним, всыпал за голенище сапог горсть пшена, — для того, чтобы с дурного глаза не сделалось с женихом чего дурного. Всю обратную дорогу пшено терло ногу, тугой ожерелок рубахи душил горло, и Григорий в холодной отчаянной злобе шептал про себя ругательства.

## XXII

Отдохнувшие у Коршуновых лошади шли, добираясь до мелеховского база, из последних сил. На ременных шлеях, стекая, клубилась пена.

Подвигившие кучера гнали безжалостно.

Поезжанье встретили старики. Пантелей Прокофьевич, блистая чернью выложенной сединым серебром бороды, держал икону, Ильи-нишна стояла рядом, и каменно застыли ее тонкие губы.

Григорий с Натальей подошли под благословенье, засыпанные винным хмелем и зернами пшеницы. Благословляя, уронил Пантелей Прокофьевич слезу и засуетился, нахмурился, жалея, что люди были свидетелями такой его слабости.

Нареченные вошли в дом. Красная от водки, езды и солнцепека Дарья выскочила на крыльцо, обрушилась на бежавшую из стряпки Дуняшку.

— Где Петро?..

— Не видала.

— К попу надо бечь, а он, проклятый, запропал.

Петро, через меру хлебнувший водки, лежал на арбе, снятой с передка, и стонал. Дарья вцепилась в него коршуном.

— Нажра-а-ался, идолюка! К попу надо бечь!.. Вставай!

— Пошла, ты! Не признаю! Ты што за начальство?— резонно заметил тот, шаря по земле руками, сгребая в кучу куриный помет и об'едья союмы.

Дарья, плача, просунула ему в рот два пальца, придавила болтавший несуразное язык и помогла облегчиться. Ошалевшему от неожиданности Петро вылили на голову цыбарку колодезной воды, вытерли досуха сушившейся полоной, проводили к попу.

Через час Григорий стоял в церкви рядом с похорошевшей в свете свечей Натальей, давил в руке восковой стержень свечки, скользя по густой стене шепчущегося народа невидящими глазами, повторял в уме одно назойливое слово: «Отгулялся... отгулялся». Сзади покашливал опухший Петро, где-то в толпе мельтешились дуняшкины глаза, чьи-то как будто знакомые и незнакомые лица; доносился разнобоистый хор голосов и тягучие возгласы дьякона. Безразличие оковало Григория. Он ходил вокруг аналоя, наступая гундосому отцу Виссариону на пятки стоптанных сапог; останавливался, когда Петро неприметно дергал его за полу сюртука; глядел на струйчатые косички огней и боролся с сонной, овладевавшей им одурью.

— Поменяйтесь кольцами, — сказал отец Виссарион, тепловатоглянув Григорию в глаза.

Поменялись. «Скоро кончится?» — спросил Григорий глазами, поймав сбоку петров взгляд. И тот шевельнул углами губ, гася улыбку:

«Скоро». Потом Григорий три раза целовал влажные, безвкусные губы жены, в церкви угарно завоняло чадом потушенных свечей, к выходу загощали выпиравшие в притвор люди.

Держа в своей руке шершавую крупную руку Натальи, Григорий вышел на паперть. Кто-то нахлобучил ему на голову фуражку. Пахнуло полярным теплым ветерком с юга. Из степи тянуло ночной прохладой. Где-то за Доном синевилась молния, находил дождь, а за белой оградой, сливаясь с гулом голосов, зазывно и нежно позванивали бубенцы на переступавших с ноги на ногу лошадях.

### XXIII

Коршуновы приехали уже после того, как жениха с невестой увезли в церковь. Пантелей Прокофьевич до этого выходил за ворота, вглядывался вдоль улицы, но серая дорога, промереженная зарослями игольчатой колочки, была наголо вылизана безлюдьем. Он переводил взгляд за Дон. Там приметно желтел лес, вызревший мохорчатый камыш устало гнул над задонским озерцом, над осокой.

Предосенняя, тоскливая синяя дрема, сливаясь с сумерками, обволакивала хутор, Дон, меловые отроги, задонские в лиловой дымке тающие леса, степь. За поворотом на хляхт, у перекрестка, тонко вырисовывалась остроугольная верхушка часовни.

До слуха Пантелея Прокофьевича доплыл чуть слышный строчащий перестук колес и собачий брех. С площади на улицу вырвались две брички. На передней, покачиваясь в люльке, сидели рядом Мирон Григорьевич с Лукинишной, против них — дед Гришака в свежем мундире с Георгиями и медалями. Правил Митька, небрежно сидя на козлах, не показывая озверевшим от скачки, сытым, вороным лошадям подоткнутого под сиденья кнута. На второй Михай, падая назад, передергивал вожжами, силился перевести скакавших лошадей на рысь. Остренькое безбровое лицо Михея крылось фиолетовым ряменцем, из-под треснувшего пополам козырька обильно сыпался пот.

Пантелей Прокофьевич распахнул ворота, и бричка одна за одной вехали на баз.

С крыльца гусыней поплыла Ильинишна, обметая подолом ошлепки навозной грязи, занесенной на порожки.

— Милости просим, дорогие сваточки! Сделайте честь нашему бедному куреню! — пнула она дородный стан.

Пантелей Прокофьевич, кособоча голову, широко разводил руками:

— Покорнейше просим, сваточки! Проходите.

Он крикнул, чтоб отпрягли лошадей, и пошел к свату. Мирон Григорьевич тер ладонью шаровары, счищая пыль. Поздоровавшись, пошли к крыльцу. Дед Гришака, растрясенный небывалой ездой, приотстал.



— Проходите, сваточек, проходите! — упрашивала Ильинишна.

— Ничево, благодарствуем... пройдем.

— Заждались вас, проходите. Дуняшка, дай веник свату почистить мундир. Пыль ноне, ажник дыхнуть нечем.

— Так точно, сушь,.. Оттого и пыль... не беспокойтесь, сваха... Я вот толечка...— дед Гришака, кланяясь недогадливой свахе, задом подвигался к сараю и окрылся за крашеным боком веялки.

— Привязалась к старику, дуреха! — накинулся Пантелей Прокофьевич, встречая Ильинишну у крыльца. — Он по своей стариковской надобности, а она... тьфу, господи!.. да и глупая!..

— Я - то почем знала, — смутилась Ильинишна.

— Должна разуметь. Ну, нечево там. Иди, проводи сваху.

За накрытыми столами нетрезвый гуд подвыпивших гостей. Свагов усадили в горнице за стол. Вскоре приехали из церкви молодые. Пантелей Прокофьевич, наливая из четверти, прослезился.

— Ну, сваточки, за наших детей. Штоб оно все по-хорошему, как мы сходились... и штоб они в счастье и здравии свою жизнь проживали...

Деду Гришаке налили пузатую рюмку и вылили половину в рот, залохматевший прозеленью бороды, половину за стоячий воротник мундира. Пили, чокаясь. Просто пили. Гомон ярмарочный. Сидевший на самом краю стола дальний родственник Коршуновых, старый атаманец Никифор Коловейдин, поднимая раскляченную руку, ревел:

— Горька!

— Го-о-орь-ко-а!..— подхватывали за столом.

— Ох, горька!.. — отзывалась битком-набитая кухня.

Хмурясь, Григорий целовал пресные губы жены, водил по сторонам затравленным взглядом.

Красная горячка лиц. Мутные во хмелю, похабные взгляды и улыбки. Рты, смачно жующие, роняющие на расшитые скатерти пьяную слюну. Гульба, одним словом.

Никифор Коловейдин щерил щербатую пасть и поднимал руку.

— Горько!.. — на рукаве его голубого атаманского мундира морщились три золотых загогулины — нашивки за сверхсрочную службу

— Го-о-орь-ко!..

Григорий с ненавистью вглядывался в щербатый рот Коловейдина. У того в порожнюю меж зубами скважину при слове «горько» трубочкой вылезал слизистый багровый язык.

— Целуйтесь, тетери-ятери.. — шипел Петро, шевеля косичками намокших в водке усов.

В кухне Дарья, подпившая и румяная, завела песню. Подхватили. Перекинули в горницу.

Вот и речка, вот и мост,  
Через речку — перевоз...

Плелись полуса, и, обгоняя других, сотрясая стекла окон, грохотал Христоня:

А кто бы нам поднес,  
Мы ба вы-пи-и-ли...

А в спальне сплошной бабий визг:

Потерял-растерял я свой голосочек...

И в помощь чей-то старческий, дребезжащий, как обруч на бочке. мужской голосок:

Потерял, ух, растерял, ух,  
Я свой голосочек.  
Ой, по чужим садам летучи.  
Горькую ягоду-малину ключючи.

— Гуляем, люди добрые...

— Баранинки спробуй.

— Прими лапу-то, муж вон... он глядит.

— Горь-ка-а-а!..

— Дружко развязный, ишь со свахой, как обходится!

— Ну, не-е-ет, ты нас баранинкой не угощай!..

— Я, может, стерлять ем?.. И буду исть. Она жир-на-я...

— Кум Прошка! Давай стремennую чекалдыкнем.

Так по зебрам и пошел огонь...

— Семен Гордеевич!

— А?

— Семен Гордеевич!

— А?

— Да пошел ты под рас... вымя сучье!

В кухне закачался, выгинаясь, пол, затарахтели каблуки, упал стакан; звон его потонул в общем гуле. Григорий глянул через головы сидевших за столом в кухню: под уханье и взвизги топтались в крутвой бабы. Трясли полными задами (худых не было, на каждой по пять-семь юбок), махали кружевными утирками, сучили в плясе локтями.

Требовательно резнула слух трехрядка. Гармонист заиграл казачка с басовыми переливами.

— Круг дайте! Круг!

— Потеснитесь, гостечки,— упрашивал Петро, толкая в разопревшие от пляса бабы животы.

Григорий, оживившись, мигнул Наталье.

— Петро зараз казачка урежет, гляди.

— С кем это он?

— Не видишь? С матерью твоей.

Лукинишна уперла руки в боки, в левой — утирка.

— Ходи, ну, а то я!..

Петро, мелко перебирая ногами, прошел до нее, сделал чудеснейшее коленце и задом вернулся к месту. Лукинишна подобрала подол, будто собираясь через лужу шагать, выбила дробь носком и пошла, под гул одобрения, выбрасывая ноги по-мужски.

Гармонист пустил на нижних ладах мельчайшей дробью. Смыва эта дробь Петро с места, и, ухнув, ударился он в присядку, щелкая ладонями о голенища сапог, закусив углом рта кончик уса. Ноги его трепетали, выделявая неуправляемую частуху колен, на лбу, не успевая за ногами, метался мокрый от пота чуб.

Григорию загородили взгляд спины столпившихся у дверей. Он слышал лишь текучий треск кованых каблучков — словно сосновая доска горела, да взвинчивающие крики пьяных гостей.

Под конец плясал Мирон Григорьевич с Ильинишной, плясал деловито и серьезно, как и все, что он делал.

Пантелей Прокофьевич стоял на табуретке, мотал хромой ногой, чмокал языком. Вместо ног у него плясали губы, не находившие себе покоя, да серьга.

Бились в казачке и завзятые плясуны и те, которые не умели ног согнуть по-настоящему.

Всем кричали:

— Не подгадь!

— Режь мельче! Ух, ты!..

— Ноги легкие, а зад мешается!

— Сыпь, сыпь!

— Наш край побивает!

— Дай звару, а то я!..

— Запалился, стерва. Пляши, а то бутылкой!..

Пьяненький дед Гришака обнимал ширококостую спину, соседа по лавке, брнжал по-комариному ему в ухо:

— Какова года присяги?

Сосед его каршеватый, вроде дуба-перестарка, старик гудел, отматываясь рукой.

— Тридцать девятова, сынок.

— Какова? Ась? — оттопыривал дед Гришака морщиненную раковину уха.

— Тридцать девятова, — сказано тебе.

— Чей же будете? Из каких?

— Вахмистр баклановского полка Максим Богатырев. Сам рожак с хутора... с хутора Красный яр.

— Родствие Мелеховым?

— Как?

— Родствие, говорю?

— Ага. Дедом довожусь.

— Полка-то баклановскова?

Старик потухшими глазами глядел на деда Гришаку, катая по голым деснам непрожеванный кусок, кивал головой.

— Значица, в кавказской кампании пребывали?

— С самим покойничком Баклановым, царство небесное, служил, Кавказ покоряли... В наш полк\*шел казак редкостный... Брали гвардейскова друту, одначе, сутулых... какие длиннорукие и в плечах тоже. Нонешний казак попереk уляжется... Вот, сынок, какие народы были... Их превосходительство, покойник, генерал в ауле Челенджийском в одночасье изволили меня плетью...

— А я в турецкой кампании побывал... Ась? Побывал, да, — дед Гришака прямил ссохшуюся грудь, вызванивая георгиями.

— Заняли мы этот аул на рассвете, а в полдни играет трубач тревогу.

— Довелось и нам царю белому послужить. Под Рошичем был бой, и наш полк, 12-й донской казачий, сразился с ихними янычирами.

— Играет это трубач тревогу... — продолжает баклановец, не слушая деда Гришаку.

— Янычиры ихние навроде атаманцев. Да-с... — дед Гришака горячится, сердясь, машет рукой. — Службу при своем царе несут и на головах у них белые мешки. Ась? Белые мешки на головах.

— Я и говорю своему полчанину: «Это, Тимоша, отступить будем, тяни ковер со стены, мы его в торока...»

— Два егория имею! Награжден за боевые геройства!.. Турецкова майора живьем заполонил...

Дед Гришака плачет и стучит сухим кулачком по гулкой медвежковатой спине деда-баклановца; но тот, макая кусок курятины, вместо хрена, в вишневый кисель, безжизненно глядит на скатерть, залитую лапшой, шамшит провалившимся ртом:

— Вот, сынок, на какой грех попутал нечистый, — глаза деда с мертвой настойчивостью глядят на белые морщины скатерти, словно видит он не скатерть, залитую водкой и лапшой, а снеговые слепящие складки кавказских гор.

— До этого сроду не брал чужова... Бывало, зайдем черкесский аул, в саклях имение, а я не завидую... Чужое сиречь от нечистова... а тут поди ж ты... Влез в глаза ковер... с мохрами... Вот, думаю, попона коню будет...

— Мы этих разных разностоев повидали. Тоже бывали в заморских землях, — дед Гришака пытается заглянуть соседу в глаза, но глубокие глазницы заросли, как баерак бурьяном, седыми ключьями бровей и бороды; не докапывается дед Гришака до глаз, кругом одна щетинистая непролазь волос.

Он пускается на хитрость; он хочет привлечь внимание соседа ударным местом своего рассказа, а поэтому начинает без предварительной подготовки прямо со середины:

— ...И командует есаул Терсинцев: «Взводными колоннами наместом арш-арш!..»

Дед-баклановец вскидывает голову, как строевой конь при звуке трубы, роняя на стол узловатый кулак, шепчет:

— Пики к бою, шашки вон, баклановцы!.. — тут голос его внезапно крепчает, мерклые зрачки глаз блестят и загораются белым, загоревшим старостью огнем. — Баклановцы — молодцы!.. — ревет он, раскрывая пасть с желтыми нагими деснами. — В атаку... марш-марш!..

И осмысленно и молодо глядит на деда Гришаку и не утирает замызганным рукавом чекменя щекочущие бороду слезы.

Дед Гришака тоже оживляется:

— Подал он нам этакую команду и махнул палашом. Поскакали мы, а янычиры построились вот так-то, — он чертит на скатерти пальцем неровный четырехугольник. — В нас палят. Два раза мы на них ходили — сбьют и сбьют. Откель не возьмись с флангу из лесочка ихняя конница. Наш командир сотни дает команду. Завернули мы правым крылом, перестроились — и на них. Вдарили. Стоптали. Какая конница супротив казаков устоит? То-то и оно. Поскакали они к лесу, воют... Вижу я; скачет попереди меня ихний офицер на караковом коне. Молодецкий такой офицер, черные усы книзу, оглядывается все на меня и пистолет из чехла вынает. А чехло к седлу приторочено... Стрельнул — и не попал. Тут придавил я коня, догоняю его. Хотел срубить, а после раздумал — человек... и правой рукой обхватил его поперек, так он, изволите видеть, так из седла и вылетел. Руку мне искусал, а все ж-таки взял я его...

Дед Гришака, торжествуя, глянул на соседа: тот, уронив на грудь огромную угловатую голову, уснул под шум, уютно всхрапывая.

*(Конец первой части)*

старика» выявляет себя чертами представителя социалистически настроенной интеллигенции. Уточнять эту формулировку пока не следует (до выхода его следующих книг), хотя из других источников известно, что Дэлл социалист и, кажется, даже коммунист. Известно также, что он весьма долгое время находился под влиянием Уптона Синклера. Нет сомнений, что он, как художник, уже победил своего учителя. Выход «Причуд старика» мы всемерно приветствуем.

Роман Д. Стивенса не имеет ничего общего с книгами Дрейзера или Дэлла. Стивенс написал своеобразный эпос, направленный к восхвалению первого лесопромышленника. Этот пионер капитализма обрисован чертами былинных героев: он выше деревьев, бороду расчесывает при помощи маленькой сосны, от его шагов дрожит земля, люди падают с ног и т. д.

Эпос всегда «патриотичен». В образе Беньяна автор занят восхвалением и идеализацией принципов буржуазного строя. Если Беньян заботится, чтобы рабочие сытно ели, он делает

это затем лишь, чтобы они лучше работали. Интересоваться искусством или жить в сфере мысли Беньян им не разрешает, ибо дело дровосека «не думать, а рубить дрова», думать же за них будет он сам. В том же духе и вся книга. Остается недоумевать, на кого рассчитана и зачем издается подобная литература. Если даже ставить вопрос по линии приемов построения современного эпоса, — искусственность их становится просто кричащей в такой растянутой книге.

Предисловие, по обыкновению анонимное, сообщает сенсационные сведения о том, что какой-то заграничный литературный бездельник сравнивает Стивенса с Раблэ, так как у них обоих герои — великаны. Это такая нелепость, о которой и говорить стыдно. Раблэ был культурнейшим человеком своей эпохи и обладал опромным кругозором, чего совершенно лишен Стивенс. Раблэ мог бы только злобно издеваться над теми современными американскими буржуа, которым Стивенс подносит льстиво-написанный портрет их предка.

Ю. Данилин



## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
А. С. СЕРАФИМОВИЧ — Галка (из цикла «Борьба»)	3—9
АННА КАРАВАЕВА — Лесозавод (роман) . . .	10—67
СТИХИ — М. Светлова, И. Доронина, А. Суркова, И. Садофьева, С. Щипачева . . .	68—77
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман) . . . . .	78—159
А. НОВИКОВ-ПРИБОЙ — В преисподней (рассказ) . . . . .	160—171
Р. РОМАН — Черная тетрадь (поэма) . . . . .	172—176
СТИХИ — Я. Шведова, Г. Фиша, Б. Соловьева . . . . .	177—181

## ЖИЗНЬ НА ХОДУ

И. ЖИГА — Заклепка (очерк) . . . . .	182—189
--------------------------------------	---------

## ВОСПОМИНАНИЯ

В. Д. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Тайная поездка в Россию в 1905 году . . . . .	190—224
--	---------

## ЛИТЕРАТУРА

ВИКТОР СЕРЖ — Заметки о Пьере Ампе . . . . .	225—234
--	---------

## БИБЛИОГРАФИЯ

Г. Якубовский, Борис Киреев, Л. Тоом, А. Селивановский, И. Нович, Ю. Данилин и др. . . . .	235—244
--	---------

цена 1 руб. 40 коп.



**Подписку направлять:**  
**ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ**  
**МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**  
Москва, Кузн. Мост, 7. Ленинград, Просп.  
Володарского, 53-а. Розничная продажа от-  
дельн. номеров во всех магазинах и киосках